

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА



АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ
ВАЙНЕРЫ

PREMIUM

Георгий Александрович Вайнер
Аркадий Александрович Вайнер
Лекарство против страха
Серия «Азбука Premium.
Русская проза»
Серия «Следователь Тихонов»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66866948

Лекарство против страха (сборник): Азбука, Азбука-Антикис; Санкт-Петербург; 2021

ISBN 978-5-389-20498-0

Аннотация

«Лекарство против страха» (1976) – один из самых известных романов братьев Вайнеров, который увидел свет в золотую пору творчества писателей и впоследствии был дважды экранизирован. Братья Вайнеры – непревзойденные мастера сложнейшей интриги и непредсказуемого сюжета, в основе которого лежат вечные вопросы: можно ли победить страх и несчастье – и вечные понятия: борьба за власть, рабство в плену страстей и денег, любовь, ненависть, зависть и – умение служить Добру. В этом романе авторы повторяют прием двупланового повествования, блестяще осуществленный в романе «Визит к Минотавру». Современный сюжет переплетается с историческим. Читателя

завораживает история гениального целителя, врача-алхимика XVI века Парацельса. Основное повествование ведется от лица постоянного героя братьев Вайнеров – инспектора Тихонова. На этот раз преступление было совершено с помощью неизвестного в медицине препарата. В ходе расследования выясняется, что работу над ним ведут двое ученых и появление нового лекарства должно произвести настоящий переворот в науке...

В издание также вошла повесть «Город принял!..» (1978) – хроника одних суток работы оперативной группы Московского уголовного розыска. Часть эпизодов легла в основу одноименного фильма.

Содержание

Лекарство против страха	6
Глава 1	9
Глава 2	27
Глава 3	48
Глава 4	82
Глава 5	113
Глава 6	138
Глава 7	176
Конец ознакомительного фрагмента.	194

**Аркадий и
Георгий Вайнеры
Лекарство против
страха (сборник)**

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1976, 1978

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

Лекарство против страха

Роман

Светлой памяти отца нашего посвящаем

– Меня зовут Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.

– У вас красивое имя, – сказал он.

– Да. Но чаще меня называют Парацельсом. И я считаю это правильным, потому что в искусстве врачевания я уже давно превзошел великого латинянина Цельса.

– От каких болезней вы исцеляете? – спросил он, и в его прищуренных серо-зеленых глазах не было недоверия – хамского сомнения невежд, а светилось лишь искреннее любопытство.

– Я освобождаю от мук, ниспосланных человеку: водянки, проказы, лихорадки, подагры, от тяжких ран и болезни сердца...

– У вас есть помощники?

– Разум мой и опыт да сердце, скорбящее о страждущих в мире сем.

– Вы одиноки?

Я засмеялся:

– У меня нет детей, нет жены и друзей не осталось. Но

разве все люди не со мной? Разве благодарность пациентов не согревает мне сердце? Разве ненависть завистников – лекарей ничтожных и корыстных аптекарей – не угнетает мою память? И сотни учеников разве не связали меня с тысячами неведомых людей благодатью моего учения?

– Вы богаты?

Я показал ему на стопку рукописей:

– Вот все мое богатство. Да старый конь на конюшне. И меч ржавый в ножнах. А сам я живу здесь в немощи, и кормит меня из дружбы и милости последний мой товарищ и ученик – цирюльник Андре Вендль.

– Но говорят, будто вы можете простой металл превратить в золото? Почему вы не обеспечите себя и не облагодетельствуете единственного своего друга Вендля?

– Я, Парацельс, – великий маг и алхимик, и при желании достопочтенный господин может легко разыскать людей, которые собственными глазами видели, как я вынимал из плавленной печи чистое золото. Но Господь сподобил меня великому знанию врачебной химии, и когда я получил в своем тигле лекарства, которые исцелили обреченных на смерть людей, я понял, что это знамение, ибо щепоть моего лекарства могла дать человеку больше, чем все золото мира. И тогда я дал обет не осквернять потной жадностью святой очаг мудрости и милосердия.

– А как вы сюда попали?

– Я вышел из своего дома на Платцеле, перешел по подвес-

ному мосту через Зальцах, дошел до Кайгассе и потерял на улице сознание. Очнулся я уже здесь, в гостинице «У белого коня»...

– Как вы себя чувствуете?

– Мой разум, чувства и душа совершенно бодры. Но у меня нет сил двигаться. Энтелехия – тайная жизненная сила, открытая и утвержденная мной, – неслышно покидает мое тело.

Вошел служитель, поставил на стол кружку сквашенного молока и печенье.

– Почему вы не принесли еды для моего гостя? – строго спросил я служителя, но гость торопливо сказал:

– Благодарю вас, не беспокойтесь, я недавно обедал. Да мне уже и собираться пора. Приятного аппетита, а я пойду, пожалуй.

– Счастливого вам пути. А как вас зовут?

– Станислав Тихонов.

– Приходите еще, нам найдется о чем поговорить.

– Спасибо. Могу я спросить, над чем вы работали последнее время?

Сначала мне не хотелось говорить. Но он не мог быть шпионом, у него лицо честного человека, любопытные, немного грустные глаза. И я сказал ему:

– Я создал лекарство против страха...

Глава 1

Тень и свет

«Стенограмма объяснения участкового инспектора капитана милиции *А. Ф. Позднякова* в инспекции по личному составу Главного управления внутренних дел Москвы

...Вопрос. Когда вы пришли в себя?

Ответ. В воскресенье утром.

Вопрос. Где именно?

Ответ. В медвытрезвителе № 3.

Вопрос. Сотрудникам медвытрезвителя сразу сообщили, кто вы такой?

Ответ. Нет, я назвал себя и место работы после того, как выяснилось, что у меня пропали пистолет и служебное удостоверение.

Вопрос. Почему?

Ответ. Не знаю, я плохо соображал, у меня сильно болела голова.

Вопрос. Могли вы потерять пистолет и служебное удостоверение по пути от стадиона до сквера, где вас подобрал в нетрезвом виде экипаж патрульной машины?

Ответ. Нет, нет, нет! Я не был в нетрезвом состоянии!

Вопрос. Вот заключение врача: «Сильная стадия опьянения с потерей ориентации во времени и пространстве...» Вы полагаете, что врач мог ошибиться?

Ответ. Не знаю! Пьяным я не был!

Вопрос. Хорошо, расскажите снова, как вы попали на стадион.

Ответ. В пятницу был финал Кубка, играли «Спартак» и «Торпедо». Я очень люблю футбол и хожу на все интересные матчи, а тут всю неделю дел было невпроворот, и я не успел купить билет. Надеялся достать около стадиона. Походил у касс, вижу – билетов совсем нет, а желающих толпы. Тут подходит ко мне какой-то гражданин и говорит: «Слушайте, у меня есть лишний билет, но я просто боюсь достать его из кармана: эти фанатики меня на части разнимут. Идите со мной, я вам у входа оторву билет, а деньги вы мне потом отдадите». Ладно, договорились. Оторвал он билет, объяснил, что товарищ не смог прийти; отдал я ему рубль. А жара стояла – больше тридцати градусов. Минут за пять до перерыва между таймами он мне говорит: «Посмотрите, пожалуйста, за моим местом, чтобы никто не сел, а я сбегая в буфет – пивца хлебнуть» Скоро он вернулся и принес мне бутылку пива и бутерброд с колбасой. Я его, конечно, поблагодарил, а он мне отвечает, что есть латинская поговорка – не могу вспомнить, как это он сказал, –

и перевел: кто, мол, дал однажды, тот даст и дважды. Выпил я бутылку пива, поговорили мы маленько про футбол. И чувствую я, что совсем у меня жажда не прошла, а даже еще сильнее пить захотелось. Жарко невыносимо, голова начала кружиться, все перед глазами зелено и круги плывут. Хочу соседу сказать, что сомлел я на жаре, и голоса своего не слышу. Все заплясало в голове, и больше ничего не помню...

Вопрос. Пивная бутылка была закупорена или открыта?

Ответ. Не помню.

Вопрос. Открывали вы бутылку или нет?

Ответ. Не помню, не могу сейчас сказать.

Вопрос. Доводилось вам когда-нибудь ранее встречать этого человека?

Ответ. Нет, никогда.

Вопрос. Запомнили вы его?

Ответ. Плохо. Лет ему на вид около тридцати пяти.

Вопрос. Сможете отработать его портрет на фотороботе?

Ответ. Попробую, хотя не уверен. У меня до сих пор голова кружится.

Вопрос. В случае встречи с этим человеком беретесь ли вы с уверенностью опознать его?

Ответ. Думаю, что смогу.

Вопрос. Есть у вас какое-либо объяснение случившемуся?

Ответ. Нет, никак не могу я этого объяснить.

Вопрос. Вы понимаете, что если все в

действительности было так, как вы рассказываете, значит вас хотели отравить?

Ответ. Не знаю, хотел ли он меня отравить, но я ведь всю правду рассказываю! Дочерью своей клянусь...»

...Я положил на стол стенограмму, а Шарапов поднял па-
лец:

– Вот именно – отравить хотели! Почему?

Я пожал плечами:

– Можно ведь и по-другому спросить: зачем?

– Какая разница! – махнул рукой Шарапов.

– Разница существует, – усмехнулся я. – В «почему» есть момент законченности, вроде акта мести. А «зачем» – это только начало предстоящих событий.

– погоди философствовать. Лучше подумай как следует: тут есть над чем мозги поломать.

– Это уж точно. Но у меня бюллетень не закрыт, я еще болен.

– А тебе что, открывая бюллетень, мозги отключают? Я ведь тебе не работать, а думать пока велю!

– С вашего разрешения, товарищ генерал, я не хотел бы думать об этой истории...

Шарапов поднял очки на лоб, внимательно посмотрел на меня, медленно произнес:

– Не понял...

Я поерзал на стуле, потом собрался с духом:

– Ну как же не понимаете? Вы поручаете мне расследова-

ние по делу моего товарища...

– А ты что, знаешь Позднякова?

– Да нет, не знаю, сегодня первый раз его фамилию услышал. Но это не имеет значения: мы с ним все равно, так сказать, товарищи.

Генерал уселся поудобнее, сдвинул очки обратно на нос, прищурившись, внимательно посмотрел на меня:

– Говори, говори... Красиво излагаешь...

– А чего говорить? Вы же знаете, я никогда от дел не отказываюсь. Но там я жуликов на чистую воду вывожу, а тут мне надо будет устанавливать, не жулик ли мой коллега. И мне как-то не по себе...

Шарапов невыразительно, без интонации спросил:

– А отчего же тебе не по себе?

– Ну как отчего? Вы же знаете, что зелье это не только монаси приемлют! Скорее всего, выяснится, что Поздняков безо всякой отравы – по жару-то такой – принял стопку-другую с пивцом и сомлел, а пистолет просто потерял. Позднякова – под суд, Тихонову – благодарность и репутацию соответствующую...

Шарапов покачал головой, благодушно сказал:

– Хороший ты человек, Тихонов. Во-первых, добрый: понимаешь, что со всяким в жизни может такое случиться. Во-вторых, порядочный: не хочешь своими руками товарища под суд отдавать. И конечно, бескорыстный: сам ты орден получил недавно, теперь другим хочешь дать отличиться. Ну

а то, что Поздняков сейчас по уши в дерьме завяз, так ведь не ты его туда загнал. Ты вообще о нем раньше не слыхал. Неясно только, сам он попал в дерьмо или его туда, не добив до смерти, бросили. Но это уж подробности. Стоит ли из-за этого трудиться, рисковать репутацией хорошего парня и верного товарища? Лучше пусть Поздняков сам урок извлечет, на стадион больше не ходит...

– Вас послушать, так это меня надо под суд отдать.

– Под суд я тебя не стал бы отдавать, поскольку и мне пришлось бы сесть на скамейку рядом. Потому что и я грешен, обо всем таком думал, о чем ты мне тут застенчиво лепетал. И должен тебе сказать, что мыслишки у нас с тобой весьма поганенькие...

– Почему?

– Потому что, если бы ты знал, что Поздняков говорит правду, ты бы с удовольствием занялся этим делом. А боишься ты, что Поздняков врет!

– Допустим.

– Тут и допускать нечего – все ясно. Боишься ты обматраться в этой истории и предпочел бы, чтобы это на мою долю досталось. Кадровики как-нибудь разберутся, я приму решение, а ты Позднякова раньше не знал и впредь не узнаешь... Правильно я говорю?

– Ну, вроде...

– Вот-вот. Только не учитываешь ты, что и я больше всего боюсь: Поздняков мог правды не сказать и начал выпу-

тываться с помощью этой легенды; и оставить для себя хоть тень сомнения в подобном деле я не могу...

– А пролить свет на эту тень должен я?

– Да. Если Поздняков лжет, нам это надо знать, потому что его пребывание среди нас делается опасным. Ведь тогда он сам становится потенциальным преступником. Но если его история – правда, то мне это тем более надо знать наверняка: значит, мы имеем дело с исключительно дерзким негодяем, которого надо поскорее вытащить за ушко да на солнышко. Все ясно как день. Понял?

– Чего уж не понять. Почему только именно я должен?..

– Объяснять – долго получится. Так надо. Действуй!

«Инспекция по личному составу Главного управления внутренних дел

Протокол объяснения

по материалам о происшествии с участковым инспектором Поздняковым А. Ф. 19 сентября 197 года.

Гр-ка Желонкина Анна Васильевна, анкетные данные в деле имеются.

По существу заданных мне вопросов могу заявить следующее.

Поздняков Андрей Филиппович – мой муж. Мы состоим в зарегистрированном браке, от которого

имеем дочь Дарью, двадцати лет. Взаимоотношения в семье нормальные. Алкоголем мой муж, Поздняков А. Ф., насколько мне известно, не злоупотребляет. Ничего о служебной деятельности мужа я не знаю, в быту он ведет себя нормально. О происшествии на стадионе мне известно со слов мужа, и добавить к сказанному им я ничего не могу. Никаких предположений о причинах происшедшего не имею.

Записано с моих слов правильно и мною прочитано.

Желонкина А. В.»

Я открыл личное дело инспектора Позднякова и взмахом картонной обложки будто отгородился от неприятного ощущения соглядатайства, которое мучило с того момента, как мое участие в расследовании было решено. Объяснить это чувство постороннему человеку вразумительными словами, понятно и четко я никогда не смог бы. А своим, тем, с кем я годами встречался в МУРе, в райотделах или отделениях милиции, ничего и объяснять не понадобилось бы, поскольку связаны мы пожизненно железной присягой товарищества, которое является для нас условием, профессиональной необходимостью нашей работы. Люди, которых я называю своими, очень разные – хорошие и неважные, щедрые и жадные, стоворчивые и склочные, умные и бестолковые. Но вместе с ними приходилось сидеть в засадах, брать вооруженных преступников, добывать из тайников клады жуликов ценностью больше зарплаты милиционера за весь срок его службы, а также необходимо было годами коротать обыденную тяго-

мотину – дежурить, выезжать на происшествия, приходилось обращаться друг к другу, даже не будучи знакомыми, за тысячу важных служебных мелочей, и все это было бы невозможно без очень глубокого, порой даже неосознанного ощущения причастности к клану людей, уполномоченных всем обществом защищать его от нечестности во всех ее формах, и это товарищество стояло и стоять будет на вере в безусловную честность каждого его участника.

Потому и было мне как-то муторно читать личное дело Позднякова, что вот эта самая вера в честность да и особый характер милицейской работы освобождают нас от необходимости говорить о себе или о своих делах больше, чем хотелось бы; хочешь – говори, не хочешь – никто тебе вопросов задавать не станет.

А сейчас от желания Позднякова ничего не зависело. Его не спрашивали, хочет ли он поделиться со мною подробностями своей биографии, а просто взяли его личное дело и дали капитану Тихонову для подробного ознакомления. И несокрушимой веры в честность Позднякова больше не существовало. Я должен был полностью восстановить эту веру, которая в отвлеченных ситуациях называется красиво – честью. Или превратить ее в прах.

Непосредственный начальник Позднякова Виталий Чигаренков оказался старым моим знакомым: десять лет назад мы вместе проходили учебные сборы в «милицейской академии», как называлась тогда школа подготовки в Ивантеевке.

Десять долгих лет проработали мы в одной организации, но так велик город и столь хлопотные дела нас крутили все время, что увидеться нам ни разу не довелось.

И сейчас мне приятно было взглянуть на него, потому что годы словно обежали его стороной – внешне Чигаренков изменился совсем мало, разве что заматерел немного да на плечах вместо лейтенантских поблескивали новенькие майорские погоны, и я слегка позавидовал ему – и молодости, и служебным успехам.

Начинал он тоже сыщиком, но потом перешел в наружную службу. Кто-то рассказывал мне, что с розыском у него не клеилось из-за детской доверчивости и твердого представления, что все на свете должно происходить по порядку и по правилам.

Еще в первые дни работы его обмишулил вороватый мальчишка, подозреваемый в грабеже. Чигаренков предъявил на допросе воришке краденые часы «Победа», изъятые у его напарника. Парень сказал, что надо подумать. Поскольку крепких улик не было, отпустили его домой. На другой день он явился с паспортом на эти самые часы и гордо заявил, что они – его собственные: марка и номер сходятся. Потом уже выяснилось, что, когда Чигаренков отошел к телефону на соседнем столе, этот стервец успел подменить «Победу» со своей руки краденной.

Работал с тех пор Чигаренков в службе, но работой своей, похоже, был недоволен. Вспомнив несколько эпизодов из

совместной нашей ивантеевской жизни, Чигаренков сказал грустно:

– Вашему брату сыщику хорошо – работа интересная, лихая и к тому же самостоятельная...

Я удивился:

– А чем твоя не самостоятельная? Ты же начальник!

– Я не про то, – сказал с досадой Чигаренков. – Вся моя самостоятельность умещается на одной странице инструкции об организации постовой и патрульной службы на подведомственной территории.

– Ну и что? Я помню, у тебя там записано, что ты не только можешь, но и «обязан проявлять творчество», разумную инициативу и... как это – во! – «развивать подобные качества у подчиненных».

– Обязан. – Чигаренков склонил голову с ровным, по ниточке, пробормотом. – Я много чего могу и обязан. Например, непрерывно управлять несущими службу нарядами, осуществлять необходимые маневры на участках с напряженной обстановкой, распоряжаться транспортом, контактировать с народными дружинами и так далее.

– Но ведь это совсем немало и по-своему интересно, – сказал я. – И опять же руководящий состав...

– Так кто бы спорил! Интересно! – Чигаренков встал, прошелся по кабинету и сказал неожиданно: – Но я ведь сыщиком быть собирался. Понимаешь?

– Хм, отсюда, из твоего кабинета, это выглядит довольно

заманчиво. Побегай вот с мое, – сказал я. – Что же ты сыщиком не стал?

Чигаренков смущенно помялся:

– Я ведь сначала в розыске работал. Но то ли не повезло, то ли, как говорится, «не обнаружил данных». Знаешь, как это бывает?..

– Не совсем, – неуверенно пробормотал я.

– Эх, не повезло мне. Я вот помню случай – бани у меня были на участке, женские. Одно время заворачивали их совсем – то вещи, то ценности из карманов; тащат не приведи бог. Я разработал план, всех причастных по этому плану проверяю. Сотни две женщин допросил – ничего! Является тут одна курносая, щечки розовые, вся такой приятной наружности – дворник, в Москве года два, сама из деревни. Я, конечно, хоть и со скукой, но допрашиваю, потому что план есть план и его надо выполнять. А за соседним столом работал Федя Сударушкин, его ввиду пенсионного возраста на злостных алиментщиков перебросили. И вдруг поднимает он голову и ни с того ни с сего: «Гражданочка, выйдите-ка в коридор на минуту!» Курносая выходит, значит, я – ему: «Ты что, Федя, с ума сошел? С какой стати ты ее услал?» А он говорит: «Голову мне оторви, коли не она в банях шурует!» В общем, долго рассказывать не буду, только оказался Федя прав – она! Я потом все у него допытывался: откуда узнал? А Федя клянется чистосердечно: «Да не знал я, истинный крест, не знал! Вот почувствовал я ее сразу, нюх у

меня на воров есть». Конечно, нюх появится, когда тридцать лет отработаешь, а я три месяца...

Чигаренков расхаживал по кабинету, поскрипывая сверкающими сапогами, поблескивая всеми своими начищенными пуговицами, значками, медалями, и на свежем, молодом лице его плавало недоумение.

– Я ведь не спорю – проколы были. Так ведь опыту не хватало, а работать-то я хотел! Дни и ночи в отделении торчал. Только никто на это внимания не обратил, а наоборот, вызвал меня как-то зам по розыску. Ехидный мужик был – ужас, ну и давай с меня стружку снимать, да все с подковырочкой... – Давняя обида полыхнула ярким румянцем на лице Чигаренкова, подсушила полные губы, сузила зеленые глаза. – Я психанул, конечно...

– Это ты напрасно, – заметил я. – Надо было все объяснить толком, просить в настоящем деле тебя попробовать.

– То-то и оно, – уныло согласился Чигаренков. – А я, в горячах-то, раз так, говорю, перейду в наружную службу, меня давно зазывают и квартиру обещали...

Слушал я его и совсем ему не сочувствовал, потому что со стороны-то мне было виднее, как точно, как правильно и хорошо сидит на своем месте Чигаренков – именно на своем. Мы разговаривали, а на столе звонили телефоны, в кабинет входили сотрудники Чигаренкова, и он отдавал им ясные, четкие распоряжения, логичные и, наверное, правильные, потому что воспринимались они на лету, как это бывает

в надежно и прочно сработавшемся коллективе. По репликам, дружелюбным и уважительным, я видел, что он здесь в полнейшем авторитете. И с неожиданной грустью я подумал о несовершенстве механизма человеческого самопонижения, при котором виртуозы-бухгалтеры втайне грустят о несостоявшихся судьбах отважных мореходов, гениальные портные жалеют об утраченных возможностях стать журналистами, а видные врачи-кардиологи считают, что их талант по-настоящему мог расцвести только на театральных подмостках, – профессьон манке, как говорят французы, пренебрежение призванием.

В словах Чигаренкова мне отчетливо была слышна обида на то, что жулики его обманывали. Так ведь на то они и жулики, прямодушных и чистосердечных жуликов не бывает. А он никак не мог согласиться с тем, что поступки людей иногда противоречат логике, а мотивы их не стандартны. Он хотел, чтобы все происходило по правилам, по закону, по порядку, и невдомек ему было, что сыщик как раз там и обнаруживает свое призвание, где происходят беззаконие, непорядок, нарушение правил...

– Я говорю заму по розыску: обратите внимание на ребят из дома семь – безобразничают! А он говорит: пусть гуляют, пусть радиолы на весь дом крутят. Пусть, говорит, цветы на клумбах топчут. Лишь бы не воровали! Вот тебе узковедомственный подход, «психология». Я этого не понимаю...

«Поэтому он – зам по розыску, а ты – по службе», – подумал.

мал я и сказал:

– Вам надо объединить воспитательные усилия. Я, знаешь, прочитал недавно в журнале: «Стратегическая цель воспитания – формирование счастливого человека».

– А я не отказываюсь, – миролюбиво сказал Чигаренков. – Я и так всех воспитываю. Отдельных граждан с обслуживаемой территории. Анку, дочку свою. Супругу исключаю – она сама кого хочешь воспитает, финансист она у меня.

По тону слов о супруге я догадался, что эта тема может нас завести далеко. Поэтому я спросил торопливо:

– А с подчиненными как?

Чигаренков подошел к шкафу, достал толстую тетрадь в клеенчатом переплете и отрапортовал:

– Первейшая моя обязанность. Я должен знать и воспитывать личный состав в духе строгого соблюдения законности, высокой дисциплины и добросовестного выполнения служебного долга!

Я улыбнулся:

– И что, получается?

– Конечно получается, – без тени сомнения сказал Чигаренков. – Я тут по совету одного знаменитого педагога – фамилию, жалко, забыл – на своих людей психологические характеристики для себя составляю. Ну для памяти, в порядке индивидуального подхода, одним словом. Глянь. – И он протянул мне тетрадь.

Я с интересом полистал тетрадь, заполненную калли-

графическим, неторопливым почерком, удивительно верно представлявшим прямоту, аккуратность и отсутствие колебаний у хозяина.

«Участковый инспектор Выборнов. Добр, но вспыльчив, имеет слабость жениться. Честен до мелочи».

«Уч. инспектор Снетков. По характеру холоден и надменен. Не пьет. Обещания выполняет...»

«Уч. инспектор Маркин. Любезен, вежлив. Живчик. Двигается быстро, а взгляд косою (???)»

«Участковый инспектор Ротшильд. Холостой. С завода по путевке. Компанейский паренёк. Весельчак. Прозван „Валя-девчатник“...»

«Командир взвода Форманюк. Скромнен, тих, неразговорчив. Разводит птиц...»

«Уч. инспектор Поздняков. Старослужащий. Исполнителен. По характеру суров, требователен. Нет чувства юмора...»

Я положил тетрадь на стол, подождал, пока Чигаренков отпустит очередного посетителя.

– Капитально задумано. Молодец.

Чигаренков довольно заулыбался.

– Да, кстати, о Позднякове. Перебои у него, значит, с юмором?

– Перебои, – подтвердил Чигаренков. – Тут однажды Ротшильд пошутил насчет его внешности, так он с ним полгода не разговаривал. Не говоря уж об анекдотах – все отделение

животики может надорвать, а Поздняков и не улыбнется.

– А зачем тебе, собственно говоря, его чувство юмора? Он ведь у тебя на другой, кажись, должности?

– А как же? – удивился Чигаренков. – Я как руководитель должен это его качество учитывать. А то поговоришь с ним «с подковырочкой», как со мной Длиннов Василий Васильевич когда-то, – и хорошего сотрудника лишишься!

– Значит, сотрудник он хороший?

– Хороший – не то слово. Я на его участок год могу не заглядывать.

– Так-так. Чем же тогда ты можешь объяснить эту историю с ним? Странно как-то получается.

Чигаренков задумался. Потом, приглаживая рукой и без того гладкие волосы на проборе, сказал:

– Странно, когда не знаешь, что произошло на самом деле. Понимаешь, Стас, он ведь, конечно, не ангел, Поздняков. В смысле – нормальный мужик и, наверно, имеет право в свободное время принять маленько. Но чтобы вот так, до бесчувствия... – Лицо Виталия перекосила брезгливая гримаса. – Нет, не похоже это на него. Ты не подумай только, что я своего под защиту беру. Если бы я узнал, что он на самом деле так набрался, то своей властью шкуру с него спустил бы. Так что ты разберись по справедливости...

Я смотрел на его строгое лицо с твердым, волевым подбородком, поджатыми губами, удивительным образом выражавшее вместо строгости и твердости мягкость и доброту, и

думал, что, наверное, зря я столь ожесточенно отбрыкивался от предложения генерала, раз старослужащий Поздняков, мужик суровый и без чувства юмора, так нуждается в моей справедливости.

Глава 2

Разве мир стал хуже?

Капитан Поздняков лицом был похож на старого матерого кабана, и я снова подумал о том, что участковый – человек малосимпатичный. Несколько лет назад приятели взяли меня на охоту, и мне болезненно-остро запомнилась здоровенная голова подстреленного кабана – вытянутое, обрубленное пяточком рыло, прищуренные красноватые веки с длинными белыми ресницами, под которыми плавали мутные зрачки, расширенные последней страшной болью, все еще угрожающий, но уже бессильный желтый оскал.

– Андрей Филиппыч, у вас враги есть? – спросил я.

– Наверное, – дрогнули белобрысые ресницы. – За десять лет службы на одном участке и друзья и враги появляются: народу, считайте, тысяч двенадцать живет.

– Можем мы с вами наметить круг таких недоброжелателей?

– А как его наметишь, круг этот? Оно ведь только у плохого участкового два недоброжелателя – жена да теща! А мне за все годы со многими ссориться пришлось – и самогонщиков ловил, и хулиганам укорот давал, и тунеядцев выселял, бежавших домой с отсидки за ворот брал, за собак беспризорных штрафовал, к скандалистам на работу жаловался, пьяниц со дворов да из подъездов гонял, родителей пло-

хих в милицию и в исполком таскал. И вору попадались, и в обысках участвовал. Вот и выходит...

Поздняков замолчал, обиженно и горестно двигая широким ноздрястым носом, росшим, казалось, прямо из верхней толстой губы.

– Что выходит? – спросил я.

– Да вот как-то раньше никогда мне это в голову не приходило, а сейчас все время об этом думаю. Живет несколько тысяч хороших людей на моем участке, и, по существу, никто из них и знать меня не знает, потому что нам и сталкиваться не приходится. А случилась сейчас со мной беда и надо бы слово обо мне доброе сказать, так выходит, что, кроме всякой швали, никто и не знает меня. А от швали мне слова хорошего не дожидаться.

Я покачал головой:

– Это не страшно. Если хорошие люди вас не знают, значит нормально службу несете, не даете их плохим в обиду. Ну ладно, оставим это. Объясните мне, пожалуйста, почему вы на стадион взяли с собой пистолет – вы же были не на работе и без формы? Инструкцию знаете?

– Знаю, – сумрачно сказал Поздняков. – Службу закончил – оружие сдай!..

– Ну и что же вы?..

– В том и вина моя единственная... – горько сказал Поздняков. – Вы меня поймите только, я не оправдываюсь, просто объяснить хочу: с войны у меня к оружию привычка, и

на службе осталась. Кроме того, я ведь и проживаю на своем участке, так что никакого времени дежурства у меня нет. В ночь-заполночь, что бы ни стряслось, бегут ко мне: давай, Филиппыч, выручай. А дела бывают самые разные: я вон трех вооруженных преступников в неслужебное время задержал...

– Значит, можно предположить, что многие знали о пистолете, который вы носите всегда при себе?

– Конечно! – Участковый удивленно поднял на меня круглые рыжеватые глаза. – Я ведь представитель власти, и все должны знать, что у меня сила.

Я про себя ухмыльнулся: у меня были другие представления о силе власти, но ничего Позднякову говорить не стал.

– Чаю хотите? – спросил Поздняков.

– Спасибо, с удовольствием. – Чаю мне не хотелось, но я подумал, что за чашкой чаю наш разговор станет менее мучительно-официальным.

Поздняков встал с дивана, на котором сидел все время неестественно неподвижно, выпрямив длинную сухую спину старого служивого, только на пятом десятке перешедшего из старшин в офицеры и сохранившего от этого почтительную опаску перед всяким молодым начальством. Он шарил ногой под диваном, нащупывая тапочки, не нашел их и, видимо, счел неудобным при мне ползать на коленях по полу: махнул рукой и пошел на кухню в одних носках. На пятке левого носка светилась дырка – небольшая, с двухкопеечную мо-

нету. Поздняков на кухне гремел чайником, туго звякнула о дно вода из крана, спички скреблись о коробок, шипели, не зажигаясь, и участковый негромко чертыхался. А я осматривался.

Из личного дела Позднякова я знал, что он женат, имеет дочь двадцати лет, студентку. Жена, Анна Васильевна, на одиннадцать лет моложе Позднякова, старший научный сотрудник Института органического синтеза, кандидат химических наук. Образование Позднякова – семь классов до войны, после войны – школа милиции. И тут было над чем подумать, даже не потому, что я не мог представить хотя бы умозрительно какой-то естественной гармонии в этой не очень обычной семье, а потому, что порядок в комнате Позднякова не был наведен заботливой рукой хозяйки, а отшлифован твердой привычкой к казарменной аккуратности и неистребимой сержантской потребностью в чистоте. И маленькая, с двухкопеечную монету, дырка на носке.

Поздняков принес два стакана в металлических подстаканниках, сахарницу. Чайник он поставил на железную решетку, снял крышку и угнездил сверху заварной чайничек. Немного посидели молча, потом Поздняков спросил:

– Вам покрепче?

Я кивнул, и Поздняков налил мне светлого, почти прозрачного чаю. Мне стало интересно, каким же должен быть у Позднякова слабый чай, и сразу же получил ответ: в свой стакан участковый заварки вообще не налил.

– Берите сахар, – придвинул он мне сахарницу.

– Спасибо, я пью всегда без сахара.

Поздняков ложечкой достал два куска, положил их на блюдец и стал пить кипяток вприкуску. Желтыми длинными клыками он рассекал кусок сахара пополам, одну половинку возвращал на блюдец, а вторую загонял за щеку и не спеша посасывал с горячей водой. При этом щека надувалась, губы вытягивались, рыжевато-белая щетина лица становилась заметнее, и он еще больше напоминал кабана – тощего, сердитого и несчастного.

– Дисциплины люди не любят, оттого и происходят всякие неприятности, – сказал Поздняков задумчиво. – А ведь дисциплину исполнять проще, чем разгильдяйничать, порядки, законы человеческие нарушать. Все зло на свете от разгильдяйства, от расхристанности, оттого, что с детства не приучены некоторые граждане к дисциплине, к обязанностям в поведении – что сами по себе, что на людях.

– А жена ваша так же думает? – спросил я, и Поздняков вздрогнул, будто я неожиданно перегнулся через стол и ударил его под дых. От жары ли, от кипятка вприкуску или от этого вопроса, но лицо Позднякова разом покрылось мелкими частыми капельками пота.

– Нет, наверное, не знаю, нет, скорее всего... – И больше ничего не сказал, а только начавшая завязываться беседа сразу увяла.

Я повременил немного и безразлично спросил, вроде бы

между прочим:

– Вы с женой неважно живете?

Но это не получилось между прочим, и Поздняков тоже понял, что этот вопрос не между прочим и отвечать на него надо обстоятельно, потому что старший инспектор с Петровки к нему зашел не чай распивать, а допрашивать. Как ни называй – беседа, разговор, опрос, выяснение обстоятельств, а смысл остается один – допрос.

– Да не то это слово – «неважно». Если правильно сказать, мы вроде бы и не живем давно...

– Как вас следует понимать?

– Ну как – проживаем мы в одной квартире, а семьи-то и нет. Давно.

– Сколько это – давно?

– Столько уж тянется, что и не сообразить сразу. Лет пять – семь. Здоровкаемся вежливо и прощаемся, вот и вся семья. – И в голосе его не было строевой твердости, а только хинная горечь и усталость.

– Почему же вы развод не оформите?

– Ну разве тут объяснишь двумя словами?..

– Тогда не двумя словами, а поподробнее, – сказал я и заметил в глазах Позднякова сердитый проблеск досады и подавленной неприязни. И прежде чем он успел что-то сказать, я легонько постучал ладонью по столу: – И вот что: мы с вами уже говорили об этом, когда я только пришел. Хочу повторить: вы напрасно сердитесь на меня, я вам эти вопросы

задаю не потому, что мне очень интересны ваши взаимоотношения с женой, а потому, что произошло событие из ряда вон выходящее и все, что имеет к этому мало-мальское отношение, надо выяснить...

– Да уж какое это может иметь отношение? Я ведь и сам малость кумекаю – не первый год в милиции...

– Я и не сомневаюсь в вашем опыте, но ни один врач сам себя лечить не может.

– Это верно, – покачал острой головой Поздняков. – Особенно если больному нет большой веры: действительно больно ему или он прикидывается.

Я побарабанил пальцами по столешнице, посмотрел на Позднякова, медленно сказал:

– Давайте договоримся, Андрей Филиппыч, не возвращаться больше к вопросу о доверии к вам. Вы ведь не барышня в парке, чтобы я вам каждые десять минут повторял насчет своей любви и дружбы. Скажу вам не лукавя: история с вами произошла фантастическая, и я к вам пришел, мечтая больше всего на свете доказать всем вашу невиновность – это и мне очень нужно. Поэтому мне хочется верить всему, что вы рассказываете. Укрепить мою веру или рассеять ее могут только факты. Вот и давайте их искать вместе. А теперь вернемся к вопросу о вашей семье...

– У меня жена хороший человек. Женщина самостоятельная, строгая.

– А из-за чего ссорились?

– Да не ссорились мы вовсе. Она меня постепенно уважать перестала – я так себе это думаю. Стесняться меня стала.

– Чем вы это можете объяснить? – задавал я бестактные, неприятные вопросы и по лицу Позднякова видел, какую боль сейчас ему доставляю, и боль эта была мне так понятна и близка, что я закрыл глаза – не видеть потное, бледное лицо Позднякова, не сбиваться с ритма и направления вопросов.

– Так ведь сейчас она большой человек, можно сказать – ученый, а муж – лапоть, унтер Пришибеев, – тихо сказал он, сказал без всякой злости на жену, а словно взвешивал на ладонях справедливость своих слов. Он даже взглянул мне в глаза, не уверенный, что я его слышу или правильно его понял, горячо добавил: – Вы не подумайте там чего, оно ведь так и есть.

– Давно наметились у вас такие настроения в семье?

– Ей-богу, не знаю. Наверное, давно. Тут ведь как получилось? Когда познакомились, работала она аппаратчицей на химзаводе, двадцать лет тому назад. Уставала она ужасно, но все равно ходила в школу рабочей молодежи. За партой, случалось, засыпала, а школу закончила и поступила в менделеевский институт. Работала и училась все время, пока вдруг не стало ясно: она человек, а я... горшок на палочке.

– А куда вы бутылку дели? – спросил я неожиданно.

Поздняков оторопело взглянул на меня:

– К-какую бутылку?

– Ну из-под пива, на стадионе, – нетерпеливо пояснил я.

– А-а... – Поздняков напряженно думал, пшеничные кустистые брови совсем сомкнулись на переносице, лицо еще больше покрылось потом. – В карман, кажется, засунул, – сказал он наконец, и в тоне его были удивление и неуверенность. – Наверное, в карман, куда еще?.. Но ведь ее в кармане не нашли потом?..

Я оставил его вопрос без ответа, помолчал немного, сказал:

– Постарайтесь припомнить, вы бутылку сами открывали?

– Пожалуй... – Поздняков снова задумался, потом ожил, вскочил. – Пожалуй! Зубами я ее, кажись, открыл. Вот мы посмотрим сейчас, может, пробка в пиджаке завалилась.

Он быстро подошел к вешалке и, снимая с нее поношенный пиджак из серого дешевого букле, бормотал:

– Ведь под лавку я не кину ее, пробку-то? Не кину. Значит, в карман...

– Давайте я вам помогу, – сказал я.

Мы расстелили пиджак на столе, тщательно осмотрели его, вывернули карманы, ощупали швы. В левом кармане сатиновая подкладка совсем посекалась и нити ткани образовали сеточку. Я засунул в дырку палец и стал шарить в складке на полах пиджака, прощупывая каждый сантиметр между букле и сатином. Уже на правой поле, с другой стороны пиджака, я нащупал шероховатый неровный кружок. Потихоньку двигая его к дырке, вытащил на свет – кусочек плос-

кой пробки, коричневый, с прилипшим к нему ворсом. Прокладка под металлические пластинки, которыми закупоривают пивные бутылки...

* * *

– Не торопите меня, Тихонов, это дурной тон, – сказал Халецкий спокойно.

В лаборатории было почти совсем темно, окна плотно зашторены, и только одинокий солнечный луч, ослепительно-яркий, разрезал комнату пополам и падал на золотые дужки очков, которые нестерпимо сияли, когда Халецкий по привычке покачивал головой.

Я сказал ему:

– Результаты экспертизы нужны к завтрашнему утру.

– Почему такая спешка? – удивился Халецкий.

– Есть старая поговорка: «Береги честь пуще глаза». А разговор идет об этом самом...

Халецкий покачал головой, и мне показалось, что он усмехнулся.

– Тихонов, вы же учились в университете, помните свод законов вавилонского царя Хаммурапи?

– Да. И что?

– Там сказано, что врач, виновный в потере пациентом глаза, расплачивается своими руками. В спешке можно сделать ошибку, и ваш пациент потеряет не только глаз, но и

честь, которую беречь надо еще пуше.

Халецкий развернул белый конверт, извлек пинцетом кусочек пробки, осмотрел его в луче солнца, падавшем из-за штор.

– Что вы намерены делать с ним?

– Микрохимический анализ, используем флуоресценты. Не поможет – посмотрим рентгенодифракцию. Что-нибудь да даст результаты. Наука знает много гитик, – засмеялся он.

– Можно что-нибудь выжать из этой пробочки? – спросил я с надеждой.

– Кто знает, попытаемся.

Лаборатория казалась единственным прохладным местом на земле, и отсюда не хотелось уходить. Халецкий и не торопился. Он повернулся ко мне, и снова солнечный блик рванул с золотой дужки его очков. Глаз Халецкого не было видно, но я знал, что он внимательно смотрит на меня.

– Ну, Тихонов, а что думаете об этом деле вы?

– Не знаю. – Я пожал плечами.

Халецкий спросил:

– Считаете, что Поздняков говорит правду?

– Не знаю, ничего я не знаю. Вам ведь известно – милиционеры, как и все прочие граждане, не святые, с ними тоже всякое бывает. Хотя не хочется этому верить.

Все-таки инспектор Поздняков ошибался, когда говорил мне, что знает его только шваль и шушера. Нашлось кому и

доброе слово сказать. Хвалебных гимнов ему не слагали, но добрые слова были сказаны и в жэках, и жильцами в домах, и в отделении милиции, где он служил.

Я воспользовался советом Чигаренкова, который сказал: «Если бы меня спросили, я бы посоветовал поднять всю документацию Позднякова – посмотреть, кого он мог в последнее время особенно сильно прищучить».

Вот я и читал часами накопившиеся за годы бесчисленные рапорты, докладные, представления, акты и протоколы, составленные Поздняковым. Читал, делал в своем блокноте пометки и размышлял о том чудовищном котле, в котором денно и нощно варятся участковые. Этим я занимался до обеда. Во вторую половину дня ходил по квартирам и очень осторожно расспрашивал об инспекторе. Работа исключительно нудная и совсем малопродуктивная. Но этого требовала одна из версий, а я привык их все доводить до конца – не из служебного рвения, а чтобы не возвращаться назад и не переделывать всю работу заново.

И отдельно я читал жалобы на Позднякова от граждан. Оказывается, на участковых подают довольно много жалоб.

А потом говорил с Поздняковым, и снова читал пожухлые бумажки, и опять расспрашивал граждан...

– Культурный человек, сразу видно: со мной всегда первый здоровается...

– Зверь он лютый, а не человек...

– Мужчина он, конечно, правильный, завсегда тверёзый,

строгий...

– Само собой, на деньжаты левые у него нюх, как у гончей...

– Кощей паршивый, он мужа маво, Федюнина Петра, кормильца, на два года оформил...

– А на суде ни слова о том, что Петька Федюнин с ножом на него бросался, – семью, понятно, жалел, детей ведь там трое...

– Не место в милиции такому держиморде – он моему мальчику руку вывихнул...

– Соседский это мальчонка. Было такое дело. Они с приятелем в подъезде женщину раздевать стали. В мальчонке-то два метра росту...

– Человек он необщительный, понять его трудно. Он ведь одинокий, кажется?..

– И если Поздняков не прекратит терроризировать меня своими угрозами, я буду вынужден обратиться в высшие инстанции...

– Дисциплинирован, аккуратен, никакой разболтанности...

– Одно слово – лешак! Дикий человек. С ним как в считалочки у мальцов: папа – мама – жаба – цапа! Я, может, пошутить хотел, а он меня – цап за шкурку и в «канарейку»...

– Вместо того чтобы задержать по закону самовольно убежавшего с поселения тунеядца, участковый Поздняков дал ему возможность безнаказаннолизнуть, несмотря на наше

заявление...

– Что же вы, Андрей Филиппыч, не задержали по закону тунеядца? – спросил я Позднякова.

Он растерянно покачал головой:

– По закону, конечно, надо было...

– Но все-таки не задержали?

– Не задержал.

– А что так?

– Ну, закон-то ведь для всех. Он хоть и закон, но не Бог все-таки, каждого в отдельности увидеть не может. И строгость его на благо была построена – я так понимаю.

– А в чем благо этого тунеядца? То, которого закон не предусмотрел?

Поздняков задумчиво поморгал белыми ресницами, пожевал толстую верхнюю губу, и я подумал, что любящие люди со временем перестают замечать некрасивость друг друга, она кажется им естественной, почти необходимой. А вот «к. х. н. Желонкина», наверное, всегда видит эти белобрысые ресницы, вытянутые толстой трубкой губы, а желтые длинные клыки ей кажутся еще больше, чем на самом деле. Все это для нее – чужое и потому остро антипатичное.

Поздняков сказал досадливо:

– Не тунеядец он!

– То есть как не тунеядец?

– Убийца – тот, что невозвратимое сотворил, – он и после

кары все-таки убийца, как тут ни крути. А если тунеядец сегодня хорошо работает – какой же он тунеядец?

– А этот хорошо работал?

– Хорошо. Ему четыре месяца до окончания срока оставалось. Дружки письмо прислали, что девка его тут замуж выходить надумала – ну, он и сорвался с поселения.

– А вы?

– А я ночью его около дома дождался, в квартиру заходить не стал.

– Не понял: почему в квартиру-то не пошли?

– Соседи мне заявление уже вручили – людишки они вполне поганые, если бы увидели, что я его на дому застукал, тут бы мне его уже обязательно оформлять пришлось...

– А так?

– А так – дал ему леща по шее и на вокзал отвез.

– Не по закону ведь? – осторожно спросил я.

– А еще два года из-за той сикухи по закону – так бы лучше было?

Я неопределенно пожал плечами и спросил:

– Соседи эти, чем они людишки поганые? Долг свой выполнили...

– Не-е, – покачал острой длинной головой Поздняков. – Не тот долг выполняют. Это они мне за парня своего отплачивают, кляузы мелкие разводят...

– Какого еще парня?

– Да вот пишет он на меня все время «телеги», что я ему

угрожаю. А чего я ему угрожаю? Хочу, чтобы человеком был, жил по-людски, работал, женился, детей воспитывал.

– Вы мне расскажите поподробнее, что это за парень.

Поздняков поднял на меня блеклые глаза, будто всматривался, потом сказал твердо:

– Если вы насчет той истории, что со мной произошла, то вряд ли он тут может быть причастен. А впрочем... Ну нет, не знаю...

– А вы мне просто так, ради интереса расскажите.

– Да тут и рассказывать особенно нечего. Их фамилия Чебаковы. Отец – завскладом, мать – инвалид третьей группы, в музее смотрительницей работает. Парень родился, когда им уже обоим далеко за сорок было. Сейчас ему двадцать пять, мордovorот на шесть пудов, а для них все Боречка. Две судимости имеет.

– Хулиган?

– Э, кабы! Я ведь почему с ним так бился – тут моя крупная промашка имеется. Он ведь всегда очень спокойный был парень. С хулиганами, с ворами проще – они заметнее. Хамло из них за версту прет, особенно по пьяному делу. Ну, конечно, на учете они все у меня, чуть что – я такого сразу за бока. А этот – тихий, в школу ходит себе, потом в институт. И вдруг его – раз! – и за фарцовку сажают. С иностранцами связался, тряпье скупал и другим стилигам перепродавал. Для меня это как гром с ясного неба. Ну, по малолетству годов определили ему условно, и я ему, естественно, житья

не давал – через день ходил домой. К райвоенкому вошел с просьбой, чтобы Бориса Чебакова в армию взяли: армия от всех глупостей лечит, учит жизни с людьми, специальности. Только не брали его в армию, пока судимость не снята.

– Ну и чем это кончилось?

– Плохо кончилось. Они на меня всей семьей вызверились, будто я хочу Борьку сдать в солдаты, чтобы из него учебного человека не вышло. А я ведь ему доброго хотел. Вот и отправили они его в Ригу, чтобы от меня, изверга, избавить. Он там и загремел по валютному делу...

– Но заявление-то об угрозах совсем недавнее?

– Так он уже отбыл срок, вернулся, отец все инстанции обегал, добился разрешения – прописали его, а Борька снова ни черта не делает.

– А подписку о трудоустройстве вы у него взяли?

– Брал два раза – пригрозил, что возбудим дело о тунеядстве. Пришел в третий, а он мне в нос справку сует: «Можешь теперь, Поздняков, спать спокойно, я самый что ни на есть трудовой человек».

– Кем же он работает? – полюбопытствовал я.

Поздняков оскалил желтые зубы, его мучнистое некрасивое лицо исказилось.

– Сказать стыдно – молодой, здоровый мужик работает этим самым... натурщиком. В художественном училище. Я ему говорю: «Как же тебе, Борька, не совестно срамотой деньги зарабатывать? Да и что это за деньги для взрослого

человека – шестьдесят рублей?» А он нахально смеется мне в лицо: «Ты, – говорит, – Поздняков, некультурный, в искусстве ничего не смыслишь, а о заработках моих не тебе печалиться...»

Конечно, в яростном возмущении Позднякова тем, что мужчина может работать натурщиком, было нечто комичное, но я и сам, честно говоря, впервые услышал – в наше-то время! – о такой мужской профессии, просто никогда в голову не приходило.

– Вот она, лень-матушка, разгильдяйство, до чего довести может, – сказал с сердцем Поздняков. – Но парень-то он не злой...

* * *

...Рассвет сер и немощен, как мое усталое тело. Холодная тусклая изморось лежит на стекле. Я смотрю в окно и вижу в стеклянном мутном отражении свои седые редкие космы, глубокие складки, шрамами искромсавшие лицо, пот бессилия и страха на челе и никак не хочу, не могу принять неизбежное – согласиться, что я уже старик. Через полтора месяца – 8 ноября 1541 года – мне исполнится сорок восемь лет. Разве это возраст старости? Неужели это намеченный мне предел, за которым вздымаются мрак, пустота, ужас исчезновения?

Какая страшная нелепость: природа даровала долгую

жизнь бессмысленным воронам, питающимся падалью, а самому светлому творению своему – человеку – отпустила столь краткий век, пролетающий мгновенно, подобно радостному вздоху.

Тридцать лет назад я был молод и здоров, как гиперборейский бог, и, сидя на скамье феррарского университета, повторял вслед за ученым богословом Мазарди: «И писано у Гиппократа-целителя: старение человеческое происходит от потери природного жара...» Но мне тогда было наплевать, отчего происходит старение человеческое, поскольку я был слишком молод, чтобы относиться серьезно к лекарскому призванию своему, и слишком здоров, чтобы допустить мысль, будто и меня когда-то коснется старость, исторгающая из человека неслышно и неотвратимо природный жар.

Тысячи, многие тысячи больных прошли через мои руки, и я исцелил их – неужели не заслужил я избавления от унижительного и страшного бессилия перед ледяным дыханием мрачного властителя смерти Таната, ненавистного богам и противного людям? Но некому помочь мне – силы неба отвернулись от меня, а люди темны и запуганы. Чудится мне тленный запах черных крыльев Таната, слышу плеск весел Харона – грозно кричит через Ахеронт перевозчик душ умерших, неумолимый привратник Тартара.

Но сегодня я не поддамся тебе, презренный Танат – разрушитель покоя, вестник ярости, слуга насилия, советник всяких зол! Рано пришел ты за моей душой – природный жар

покидает лишь слабое тело, а дух мой неукротим и жаден, как в юности, и я верую свято, что в воспоминаниях минувшего почерпну силы физические, дабы хоть на время сковать тебя, как сделал великий герой Сизиф, коль скоро не даровано нам величайшего блага – долгого мудрого века...

Бессильны сейчас все мои знания, вся накопленная мной врачебная мудрость мира, которую я собирал по крупицам долгие годы, как собирает по грошам огромное богатство ментяла-ростовщик. Мне досталась судьба ростовщика знаний и милосердия – я раздавал добро и помощь в рост, получая со временем проценты нового знания и благодарность. И сейчас, когда я так богат знанием, страшит меня не сама смерть, а судьба моего наследия, которое завистливые враги разграбят в глупой алчности, растопчут в пыли забвения, подвергнут отчуждению в казну равнодушия.

Или сотни моих трудов научных уже разошлись по миру глашатаями нового медицинского канона?

Нет, мир еще не готов принять мое учение, я родился слишком рано; а может быть, слишком рано умираю. Наверное, со временем широко зазеленеют ростки того, что родится с моей смертью. Я не охаиваю свое время, не скорблю о прошлом и не уверен, что будущее исправит все наши пороки и ошибки. Но люди, старея, перестают замечать хорошие новости и перемены – мир на глазах становится для них хуже. Я с этим не согласен, полагая, что человек вырастает из своего времени, как ребенок из своей колыбели.

Разве мир стал хуже? Просто мы стали больше, умнее, мы много узнали, хотим узнать еще больше и сердимся, когда это сразу не получается или когда новые знания превращают нашу старую веру в бесплотный туман вымысла. Равномерно раскачивается маятник нашего времени – колыбель людской памяти, и обращает нас из сегодня во вчера, в позавчера, в прошлое, в историю, и грохочет молотом судьбы, не давая заглянуть ни на одно мгновенье в щель завтрашнего дня.

...Ушел страх, растворилась боль, покинуло холодное бессилие – уносит меня в прошлое маятник памяти, неслышно качает меня колыбель моего века – кровавого, пугающего и прекрасного. Как молод, силен и весел я!

Тысячи дорог, которые я прошагал пешком, проехал верхом и в повозке, в солнцепек, град и дождь, вдруг смотались в маленький клубок, и кончик волшебной нити прибит к порогу деревянного домика в Эйнзидельне, крошечном городишке кантона Швиц в свободной Швейцарской конфедерации, где родился я так давно.

Разматывайся, клубок, распутывайтесь, петли дальних дорог, ведите меня снова к знаниям, к нищете и славе, к богатству и позору, к любви и ненависти, к щедрости и зависти, к ученикам и врагам, к друзьям и предателям, к радостям исцеления и горю утрат. Пронеси меня на себе еще раз, дорога жизни, чтобы все повторилось снова, и тогда пусть иссякнет клубок моих странствий здесь, у двери пустой серой комнаты, где тепло, тихо и пусто и окна залиты осенним дождем...

Глава 3

С кем не бывает...

Странный выдался в этом году сентябрь. После дождливого июля, бесцветного, блеклого августа вдруг ударила душная летняя жара. И здесь, в зеленом окраинном районе, осень была еще менее заметна.

Где-то далеко за Окружной дорогой глухо и мощно зарокотало – в размытой, вроде бы выцветшей голубизне неба возникли тучки, небольшие и подвижные. Одна из них подкралась к солнцу и в один миг будто тряпкой его стерла, и сразу же откуда-то взялся легкий прохладный ветерок, добавивший мне бодрости: от жары и монотонности своих занятий я уже решил было закончить на сегодня, оставив до следующего раза последние на этой улице два пятиэтажных дома, украшенных игрушечными балкончиками и черной сеткой гидроизоляции. В одном из них проживал натурщик Чебаков. И все же я вошел в подъезд, на двери которого красовалось многообещающее объявление: «Мастер плиссе – кв. 19».

– Очень полезная инициатива, – сказал жилец седьмой квартиры В. Э. Фимотин. – Оно и видно, что не только форму милиции поменяли. Происходят глубокие структурные перемены, и руководство желает знать, как работает низовое звено милиции. Участковые уполномоченные, так сказать...

– Участковые инспектора, – поправил я машинально.

– Ах так? Тоже неплохо – ин-спек-то-ра. Весьма полезно.

Несмотря на жару, Виссарион Эмильевич Фимотин был в шерстяном олимпийском костюме, передвигался по квартире быстро, энергично, а меня встретил как доброго старого друга, который долго пропал где-то и за время разлуки стал очень знаменитым, а лишь только вернулся, сразу оказал ему честь своим визитом. Я еще толком не успел представиться, а на столе уже появилась запотевшая литровая банка с ледяным, из холодильника, грибом – я уж, наверное, лет десять не видел в домах этих банок с плавающей коричнево-серой медузой на нежно-желтом кружевном подбое. Помню, какие споры – даже в газетах – вызывал этот гриб: одни утверждали, что он очень полезен, другие говорили, что от него возникает рак желудка. Постепенно страсти вокруг невинного напитка улеглись, и в выплеснутой воде остывшей дискуссии оказался и сам гриб. И вот теперь, после многолетнего перерыва, я увидел гриб на столе у В. Э. Фимотина и понял, что человек он капитальный, взглядов устойчивых и вкусов постоянных.

– Вы поймите меня правильно, – излагал Фимотин, делая маленькие вежливые глотки из стакана. – Я ведь не потому приветствую подобные проверки, что имею претензии к нашему участковому ин-спек-то-ру... – Новое наименование участковых он произносил почему-то вразбивку, с большим чувством. – Капитан Поздняков Андрей Филиппович

человек в высшей степени достойный, и не о нем речь. Из своего, осмелюсь не поскромничать, большого жизненного опыта руководящей работы я вывел, что низовое звено, будучи предоставлено самому себе, впадает в леность, анархию и распущенность...

Целый день беготни по жаре, прекрасный ледяной квас и удобное кресло расположили меня к самому искреннему вниманию, и я вполне благосклонно, не перебивая, слушал, как бывший заместитель управляющего конторой «Горразнопромснаб» В. Э. Фимотин на протяжении многих лет обеспечивал в подведомственных ему «звеньях аппарата» дисциплину, порядок, неукоснительное выполнение плана – «и все благодаря строгой системе контроля сверху донизу».

Сдержанно, коротко похохатывая – и чувство юмора проявляя, и достоинства не теряя, – Фимотин говорил:

– Я ведь тот самый зам, который за все сам. При мне начальники поживали как у Христа за пазухой. И вполне естественно: я к аппарату всегда с полным вниманием, и уж от каждого по способности всегда требовать умел.

Пенсионером Фимотин не выглядел – сухой, подтянутый, с еле заметной сединой в густом рыжеватом ежике, похожем на щетку для зачистки металла. Что-то в нем было от локомотива, переведенного в резерв, – все исправно, все пригодно, узлы смазаны и начищены, только будка машиниста забита досками от дождя и снега, стоит он себе на запасных путях, всегда готовый к тому, что придет приказ: доски от-

рывать, пары поднимать, свисток к отправлению подавать! Но вот беда: нет на то приказа, и стоит он в тупике, всегда готовый, совсем исправный и никому не нужный.

Грибной квас между тем кончился, и я посмотрел на часы. Фимотин перехватил мой взгляд:

– Ох заболтался я. Оно все же истина: любит наш брат интеллигент пофилософствовать. А ведь вас факты интересуют...

Я вежливо улыбнулся.

– Буду по возможности краток, – сказал Фимотин деловито. – Возьмем мою свояченицу

– Возьмем свояченицу, – согласился я.

– Местожителство ее – Ховрино. Значительный контингент пьющего мужского населения в ее микрорайоне в сочетании с рядом расположенным пивным павильоном определяет, если можно так выразиться, нравственную атмосферу в ихнем дворе. А именно: пьянь, извините за выражение, шум определенной тональности, драки и как следствие всего – кражи. Воруют у лежачих беззащитных пьяных из карманов. Воруют из подъездов детские коляски, а в зимний период времени – сани. Не ошибусь в предположении, что сани меняют на бутылки, естественно. И вот вам финал – у Раисы, у свояченицы то есть, крадут третьего дня... – Фимотин сделал драматическую паузу, и я замер, – «Литературную газету» из ящика и выворачивают в подъезде электролампу! Что теперь на повестке?

– А куда же участковый смотрит? – строго спросил я.

– Вот именно, куда?! – торжествующе подхватил Фимотин. – Он систематически умывает руки. Он, извините, не чешется. Он в ус не дует! Тем более что по молодости лет у него такого не имеется. Зато найти его исключительно трудно, и где он целые дни обретается – неизвестно.

– Да-а, ну и порядочки... – сказал я.

– К чему я веду? – живо отозвался Фимотин. – А веду я к тому, что на этой работе нужен человек, который болеет за дело. Живой человек, где-то даже животрепещущий. Вот как, например, наш Поздняков Андрей Филиппович. Первое дело – он всегда здесь, в наличии. Возражений всяких крикунов не допускает – я, говорит, всей милиции начальник на данной улице. В подворотнях у него не собираются, из подъездов саней не крадут. Хулиганства всякие пресекает железной рукой. Привожу пример... – Заметив, что квас в банке кончился, Фимотин сделал рукой извиняющийся жест, быстро прошел на кухню, хлопнул дверцей холодильника и принес новую банку. – У Дендеберова из тридцать девятой квартиры завелся «жигуль». Так вот, в одно утречко видит этот самый Дендеберов, что гвоздем на двери «жигуля» нацарапано *выражение*. Два дня Поздняков с этим делом крутился, всех подозрительных проверил и Легостаевых сынка Женьку – балбеса четырнадцатилетнего! – уличил, по почерку доказал, что он писал!..

Я слушал, кивал головою и видел, что никаких реплик от

меня не требовалось. В. Э. Фимотин рад был гостю, ему явно нравилось собственное красноречие, возможность показать кругозор и умение разбираться в людях. И конечно, очень его стимулировало доверие властей, которые его, именно его, пригласили высказаться и оценить деятельность работника милиции. Разглаживая тонкими пальцами корректные рыжеватые усики над узкими сухими губами, он продолжал:

– Конечно, сейчас по книжкам привыкли, что участковый – это добрый такой дядечка, всей улице родная душа и тому подобное. Поздняков Андрей Филиппович не из таких, прямо скажем. Мужчина он серьезный, я бы сказал, суровый даже, без всяких там улыбочек, ну и кой-кому это не нравится. «Грубый, – говорят, – солдафон». Только неправильно они судят: грубостей он не допускает и в отношениях проявляет законную вежливость. Так что меня не это беспокоит... Пьет он!

Если бы Виссарион Эмильевич заявил вдруг, что он император римский, я бы меньше удивился, чем такому повороту в его благожелательном повествовании. Но он сказал, что участковый Поздняков *пьет*, и это требовало серьезного отношения.

– Так и монахи пьют, – сказал я как можно небрежнее. – Важно как, где и с кем.

– Вот именно: как и где, – подтвердил Фимотин. – Если бы он дома в выходной приложился несколько, и нос, как говорится, в табаке, – на здоровье и пожалуйста. Но только

есть мнение, что как раз дома он от этого воздерживается. Неподходящая, по моим сведениям, у него дома обстановочка. Не для выпивки, а вообще...

Фимотин поднял палец, прошелся по комнате, и, хотя бледное, сухое лицо его было спокойно, маленькие зоркие глазки под нависшими желтыми кустиками бровей выражали живейшее участие.

– И вы считаете... – осторожно начал я.

– И я считаю, – перебил Фимотин, – что капитан Поздняков Андрей Филиппович на этой почве несколько злоупотребляет... Вы, повторяю, меня правильно поймите, я ему добра желаю, но... но... В общем, не мое это, конечно, собачье дело, извините меня за выражение, но мне как гражданину, как старому кадровому работнику... обидно, если хотите, больно видеть этот нос его, на котором каждый день прожилочек прибавляется, глаза, постоянно красные... запашок при разговоре ощущается...

– М-да, ситуация, – промямлил я растерянно. – И часто это бывает?

– Как вам сказать! – Фимотин помолчал, подумал, рассеянно взъерошил жесткий ежик прически, подошел к столу, отпил квасу. – Я ведь лично не так уж и часто с ним непосредственно встречаюсь... Но в те разы, когда встречаюсь... Да-да, наблюдается вышеупомянутое. И, позволю себе не скромничать в рассуждениях, не для меня же персонально он каждый раз... того.

– Это очень важно, что вы говорите, – сказал я. – И мы к таким фактам относимся очень серьезно.

– Так ведь я потому и изложил сомнения свои, что это важно. – Фимотин нахмурился, кустистые брови сошлись над переносьем. – Не ровен час, переберет, как говорится, глядишь – и заснет где... А в кобуре-то – оружие табельное, в кармане – книжечка красная. До беды-то далеко ли?..

Ну и ну! Виссарион Эмильевич, кто же ты? Провидец? Или мошенник? Откуда ж тебе предвидеть так точно беду, которая грянула на Позднякова? Как же это ты все так правильно угадал? А может быть, не угадал, а знаешь? Но откуда?

Тут я, наверное, дал промашку, не ответив сразу на сердечное опасение Фимотина за судьбу и честь Позднякова. Потому что он вдруг улыбнулся во все лицо, и я видел, что улыбаться – занятие для него непривычное, но, во всяком случае, улыбнулся он самостоятельно, без посторонней помощи.

– Да что это мы заладили с вами, товарищ инспектор, про все мрачное, и я тут раскаркался: невзначай навредишь еще хорошему человеку. Все-таки в целом надо сказать, что он товарищ положительный, вы это с уверенностью и чистой совестью можете так и доложить начальству. Низовой исполнительный аппарат находится у нас на надлежащей высоте, – добавил он значительно.

Я пил холодный гриб и с интересом рассматривал этот па-

ровоз со стравленным паром. В начале разговора я видел его стоящим в конце железнодорожной колеи, где перед носом – три метра рельсов, а дальше загибаются они вверх крючками, на которые набита шпала – как окончательный и бесповоротный шлагбаум, дальше пути нет, все дороги сошлись и окончились здесь. А теперь возникло у меня ощущение ошибки: вдруг по ночам он выползает из своего тупика и во мраке и тишине, без света, без пара, без приказа о конце консервации носится по пустынным перегонам, сметая с рельсов зазевавшихся людей...

– Я человек незлой. И совершенно безвредный. Как бабочка-махаон. – Борис Чебаков взмахнул длинной гривой великолепных черных волос и весело засмеялся. Я тоже засмеялся, совершенно искренне. – Вот рассудите сами, инспектор, вы же производите впечатление человека интеллигентного: ну может ведь так случиться, что у человека есть призвание, которое не лежит в производственной сфере?

– А какое у вас призвание? – спросил я с интересом. – Быть натурщиком?

– Ну-у, фи, это не разговор! Ведь вы работаете в МУРе, наверное, не потому, что вам больше всего на свете нравится ловить вонючих воришек и пьяных грабителей?

– Не потому, – кивнул я.

– Вот и я работаю натурщиком не потому, что это мне больше всего нравится. Хотя и не разделяю предрассудков в

отношении этой профессии.

Видимо, я не совладал с мускулами лица и невольно ухмыльнулся. Чебаков заметил это и сказал:

– Господи, когда же вы, товарищи-граждане-люди, поймете, что быть натурщиком – это очень тяжелая и творческая работа?

– Творческая? – переспросил я.

– А вы что думали? Почему художественная классика одухотворенна, а не сексуальна? Потому, что Джорджоне или Микеланджело искали не складный кусок мяса на гибком костяном каркасе, а мечтали в красоте обрести душу человеческую! И натуру подбирали годами!

– Вы напрасно так кипятитесь – я не спорю. Хотя и воздержался бы ставить телегу впереди лошади: помимо натурщика кое-что еще и художник значит. Но мы не договорили насчет вашего призвания.

Комната Бориса Чебакова, небольшая, квадратная, была похожа на цветную трехмерную фотографию из альбома модных жилых интерьеров. Тахта, два глубоких кресла, яркий палас на полу, стены с элегантными удобными стеллажами, проигрыватель-стереофоник с парой нарядных спикеров, иконы, ряды долгоиграющих пластинок в цветных блок-пакетах, четыре распятия – одно из них замечательно красивое, старинный бронзовый фонарь. На потолке углем нарисованы – из угла в угол, от двери к окну – следы громадных босых ног. И во всем этом салонно-будуарно-музыкаль-

но-молельном великолепии царил Борис Чебаков – здоровенный и красивый парень с застенчиво-наглой улыбкой.

– Насчет призвания? – сказал задумчиво Чебаков. – Не знаю, можно ли считать это призванием, но я бы хотел написать о джазе...

Он замолчал, и я спросил:

– Статью? Или книгу?

– Нет, это, конечно, не статья, даже не книга. Я бы хотел написать себя, свою личность в джазе – поток ощущений, образов, мыслей, тот мир, который мне открыт в музыке.

– А сами вы играете?

– Нет, мое призвание – слушать. Слушать и чувствовать.

Ей-богу, он сбил меня с толку. Мы живем устоявшимися представлениями, и резкое переключение их вышибает из нас уверенность в истине. Я смотрел на него почти с благоговением, потому что одно из самых твердых моих убеждений состоит в том, что человек должен скрывать свои паразитические наклонности. И до сих пор мне не приходилось встречаться с таким разнузданно-откровенным выражением потребительства, возведенного в ранг жизненной программы, такой искренней эманации захребетничества. Прямо-таки король, его тунейдское величество!

– Вам это не очень понятно? – предупредительно спросил Борис.

– Да, не совсем, – кивнул я. – Буду вам признателен, если вы мне разъясните конкретнее.

– Пожалуйста. – Борис закурил сигарету, уселся поудобнее в кресле. – Мы живем в очень богатом мире. Материально богатом. И никакой нужды в том, чтобы обязательно все производили материальные ценности, не существует. Люди гонятся за техническим развитием, а это не серьезнее, чем попытки кошки ухватить свой собственный хвост. Человек позавидовал птице – получил себе на голову стратегический бомбардировщик. Захотел думать и считать быстрее – пожалуйста: бомбардировщик наводится на цель электронной машиной. Мечтал видеть сквозь мглу – радар обеспечивает точность попадания. Можно еще говорить об Эйнштейне и атомной бомбе, но проще сказать: людям не хватает духовной жизни, а они мечтают о «запорожце».

– А как у вас обстоит с духовной жизнью? – терпеливо спросил я.

– О, с этим у меня все в порядке, – спокойно заверил меня Чебаков. – Вот мои друзья, мои эмоциональные наставники...

Он снял с полки несколько пластинок, протянул мне. На цветном мелованном конверте был мастерски сфотографирован музыкант: молодой негр сидит в известной позе Рамзеса, на коленях гитара, глаза закрыты.

– Это Джимми Хендрикс, великий музыкант. Видите зеленоватый дым вокруг головы, как нимб? Знак, что он скоро умрет. Они ведь все здорово «подкуривают»...

– И что, умер?

– Да, он отравился наркотиками у Моники Донеман. Это был тогда жуткий скандал в ФРГ. Ах, какой божественный гитарист! Безусловно, первая в мире соло-гитара. Хендрикс выдрессировал ее, как живого зверька, – она говорить умела. Он, когда играл, не просто перебирал струны – он свою гитару бил, ласкал, щипал, гладил...

– Вы разве видели, как он играет?

Чебаков усмехнулся:

– Зачем мне видеть, я слышал. И чувствовал. – Он показал на другие пластинки: – Это концерт Джаннис Джоплин «Болл ин чейн», это – Фрэнк Заппа, это – Биби Кинг, это – Джордж Харрисон и Эрик Клаптон, это – «Пинк Флойд», это – программы «голливудливс» Кеннета Хита... Хотите послушать? – неожиданно предложил он.

– Да нет уж, спасибо, у меня, наверное, для такого серьезного дела нет призвания, а самое главное – времени. У меня вот как раз сильные перебои с духовной жизнью, потому что мне платят зарплату, к сожалению, не за поток ощущений, образов и мыслей, которые могут мне открыться в джазе. Так что хотел бы спросить...

– Весь к вашим услугам!

– Сколько стоит у фарцовщика такая пластинка?

Борис обаятельно улыбнулся:

– Диск «запиленный» или новый?

– Новый.

– От ста до двухсот рубликов.

Это он точно сказал, я ведь и без него знаю цены: немало мне пришлось повозиться с делами фарцовщиков.

– Вот смотрю я на ваш стереофоник, иконы, на ваши диски и на вас самого, Чебаков, и является моим очам зрелище модного молодого человека, который весь из себя расклевещенно-приталенный, в рубаше «суперральяф» – ворот на четыре удара, в джинсовом костюме, да не в каком-нибудь там «запальном», а в самом что ни на есть фирмовом «вранглере», с золотыми «зипами».

– «Лэвис-коттон», – спокойно поправил меня Чебаков. – Можете добавить еще вайтовые траузера с задвигалами¹.

– Ну, «лэвис-коттон», не будем мелочными. И сами вы есть такой отстраненный от нашей ничтожной людской суеты, весь в высокой духовной жизни, что мною невольно овладевает зависть: мне ведь всегда хотелось быть похожим на таких замечательных людей. Но вот скребется во мне один гаденький вопросик и все это распрекрасное ощущение портит...

– С каких, мол, шишей? – усмехнулся Борис.

– Ага! Совершенно точно! Вы уж помогите мне, а то уйду я от вас, не спросив по застенчивости, и окажется, что я свое счастье проморгал – мог бы и сам во «вранглер» одеться и диски по две сотни покупать. Иначе беда прямо – у меня-то зарплата вашей побольше, а пластинки только с Ивом Монтаном покупаю.

¹ Жаргон фарцовщиков.

– Конечно научу, – готовно согласился Чебаков. – Чтобы разбогатеть, надо всегда помнить о трех вещах. Первое – бережливость. Второе – бережливость к сбереженному. Третье – бережливость к бережливо сбереженному. Вот и все.

Молодец парень! Нахал. Дерзкий. Видимо, ему удалось сорвать приличный куш, он на время «завязал», и наглость его – от ощущения сиюминутной безопасности. Ну и, конечно, он от природы болтун: есть такие мужики-краснобаи, для которых молчание – каторга, и пускай с риском для головы, а удержаться от трепотни-выпендривания он не может.

– А когда живет человек красиво, в честном достатке, то у других это в глазах сразу троится. Как говорил наш бывший участковый Поздняков, «живешь не по средствам получаемой зарплаты»!

– А почему «бывший»? – быстро спросил я.

Чебаков задержался с ответом всего на мгновение, но я ощутил это мгновение, как еле слышную склейку на магнитофонной ленте.

– Да что-то не видать его давно. То ко мне через день таскался, а то уж вторую неделю не видать...

Нет, если он и знает что-нибудь про историю с Поздняковым, то все равно сейчас не скажет. Его можно прижимать, когда есть на него какие-то «компроматы», – тогда, изворачиваясь, он снова станет болтать и обязательно в чем-нибудь протрется. А так не скажет! И черт с ним! Паразит – одно слово.

– Ну что же, Чебаков, не захотели вы со мной пооткровенничать. И создалось у меня впечатление, что наши исправительные органы в работе с вами оказались не на высоте. А-а?

Чебаков захохотал – почти радостно, и я окончательно уверился, что сейчас ему нас бояться нечего.

– Напрасно так думаете, инспектор. Сказано ведь, что я совсем безобидный, как бабочка. Пользы вам от меня немного, но и вреда никакого...

Он стал устанавливать на полке пакеты с пластинками, и неожиданно из стопы выскользнула и упала на пол рядом с моим креслом фотография. Я поднял ее и внимательно рассмотрел: красивая, совсем юная девушка закрывает одной рукой глаза от солнца, а другой обнимает за плечи улыбающегося Бориса Чебакова...

Очень люблю я приключенческие кинофильмы. Хорошие, плохие – они мне все нравятся, хотя бы потому, что я никогда не могу угадать, кто там злодей. Их всегда много – кандидатов в злодеи, у каждого есть подозрительный штришок в поведении или биографии, и, когда уже совсем нацелишься на кого-либо из них, тут-то и выясняется, что есть еще один – гораздо хуже прежних, но в конце концов виновником оказывается самый обаятельный, приятный и мирный человек.

На работе у меня возникают трудности как раз из-за того, что таких кандидатов совсем нет. И это намного сложнее,

чем работа с десятью почтенными подозреваемыми, среди которых наверняка есть злодей.

Спускаясь по лестнице из квартиры Чебакова, я окончательно понял, что без каких-то мало-мальски реальных кандидатов мое дело с места не сдвинется. Самый соблазнительный вариант, при всей его трудоемкости, – искать преступника среди возможных врагов или недоброжелателей Позднякова – себя не оправдывал. Это не классическая композиция в купе вагона или в загородном доме, отрезанном от мира обвалом, и не запертая маленькая гостиница, куда никто не входил и откуда никто не выходил. На участке Позднякова проживает девять тысяч человек, как в приличном районном городке, и к ним ко всем не прицелишься: кто из них самый обаятельный, незаметный и приятный, чтобы в нем отыскать преступника. Самый плохой из них – из тех, что вступали с Поздняковым в конфликт, – мог бы в крайнем случае ночью в подворотне ударить его кирпичом по голове. Но то, что произошло! Нет, вряд ли кому-нибудь из них по силам повернуть такое дерзкое преступление среди бела дня.

Вчера мне в голову пришла еще одна мысль: а что, если мы совершенно произвольно объединили два не связанных между собой события и от этого история с Поздняковым приобрела зловещий характер? Ведь со слов Позднякова мы представляем себе все таким образом: преступник устроил ему ловушку, отравил и, когда тот утратил контроль над собой, вывел его со стадиона, украл пистолет и удостоверение,

а самого бросил на газоне.

Но ведь может быть еще одна версия. Полностью доверяя словам Позднякова, я могу предположить и гораздо более скучный вариант: я сам слышал о многих случаях патологического опьянения с потерей сознания от минимальных доз алкоголя. Это может произойти от невротического состояния, от перегрева, от пищевого отравления. Вот если Поздняков действительно патологически опьянел от бутылки пива на тридцатиградусной жаре, не помня себя выбрался со стадиона и залег на траве, то пистолет и удостоверение из кармана мог у него спереть «чистильщик» – особо отвратительная порода воров, которые обкрадывают пьяниц...

Неспешно добрал я до автомата и позвонил Халецкому.

– Для вас есть новости, – буркнул он. – Хорошие.

– Что, меня в майоры произвели? – спросил я.

– Об этом запрашивайте управление кадров. А у меня только серьезные дела.

– Тогда поделитесь, пожалуйста.

– Пожалуйста. Химики дали заключение, подтверждающее слова Позднякова...

– Яд? – быстро спросил я.

Халецкий на мгновение замялся, потом медленно сказал:

– Да нет, это скорее лекарство...

– Лекарство?

– Да, химики считают, что это транквилизатор.

– Красиво, но непонятно. Как вы сказали? Транкви...

– Транквилизатор. Это успокаивающее лекарство. Я у вас на столе видел.

– У меня?

– Да, андаксин. Это и есть транквилизатор.

– Что же, Позднякова андаксином отравили, что ли? Для этого кило андаксина понадобилось бы.

– Андаксин – малый транквилизатор, простейшая формация. А из пробки извлекли очень сложную фракцию. Кроме того, не будучи специалистом в этом вопросе, я затрудняюсь прочитать вам по телефону курс теоретической фармакологии.

– Все понял, мчусь к вам.

– Не мчитесь. Можете двигаться медленно, вам только думать надо быстро.

– Тогда я рискую не застать вас на службе.

– А на службе вы меня и не застанете: я стою в плаще.

– Как же так, Ной Маркович? Мне обязательно поговорить надо с вами!

– Больше всего вам подошло бы, Тихонов, чтобы я оставил свой дом и принес в кабинет раскладушку. Тогда вы могли бы заглянуть ко мне и среди ночи. Вас бы это устроило?

– Это было бы прекрасно! – искренне сказал я.

– Да, но жена моя возражает. Да и сам я, честно говоря, мечтаю организовать досуг несколько иначе.

– Как же быть? Отложим до завтра? Но знайте, что ужин вам покажется пресным, а постель жесткой из-за мук любо-

пытства, на которые вы меня обрекаете.

Халецкий засмеялся:

– Вы не оставляете для меня иного выхода, кроме как разделить ужин с вами. Надеюсь, что ваше участие сразу сделает его вкусным. Адрес знаете?

– Конечно. Минут через сорок я буду у вас дома.

– Валяйте. Смотрите только не обгоните меня – моя жена ведь не знает, что без вас наш ужин будет пресным...

В прихожей квартиры Халецкого висела шинель с погонами подполковника, и я подумал, что мне случается видеть его в форме один раз в год – на строевом смотре. Высокий худощавый человек в прекрасных, обычно темно-серых костюмах, которые сидят на нем так, словно он заказывает их себе в Доме моделей на Кузнецком Мосту, Халецкий в форме выглядит поразительно. Мой друг, начальник НТО полковник Ким Бронников, ерзая и стесняясь, стараясь не обидеть Халецкого, прилагает все усилия, чтобы задвинуть его куда-нибудь во вторую шеренгу – подальше от глаз начальства, ибо вид Халецкого в форме должен ранить сердце любоговеряющего строевика. Для меня это непостижимо: он получает такое же обмундирование, как и все, но мундиры его, сшитые в фирменном военном ателье, топорщатся на спине, горбятся на груди, рукава коротки, пуговицы почему-то перекашиваются, и в последний момент одна обязательно отрывается, стрелка на брюках заглажена криво, и

один шнурок развязался. И над всем этим безобразием вздымается прекрасная серебристо-седая голова в золотых очках под съехавшей набок парадной фуражкой.

Давно, в первые годы нашего знакомства, я был уверен, что это происходит оттого, что Халецкий – глубоко штатский человек, силою обстоятельств заброшенный в военную организацию, что он просто не может привыкнуть к понятию армейского строя, ранжира, необходимости вести себя и выглядеть как все – согласно уставу и той необходимой муштровке, которая постепенно сплавливает массу самых разных людей в единый боеспособный организм.

Но однажды нам случилось вместе сдавать зачет по огневой подготовке, и я решил отстреляться первым, поскольку стреляю я неплохо и не хотел смущать Халецкого, наверняка не знающего, откуда пуля вылетает. Спокойно, не торопясь, я сделал пять зачетных выстрелов и не очень жалел, что три пули пошли в восьмерку, а одна в девятку. Халецкий вышел на рубеж вслед за мной, проверил оружие, снял и внимательно протер очки, почему-то подмигнул мне, обернулся к мишени и навскидку с пулеметной скоростью произвел все пять выстрелов; и еще до того, как инструктор выкрикнул: «Четыре десятки, девять!» – я уже знал, что все пули пошли в цель, потому что сразу был виден почерк мастера.

– Где это вы так наловчились? – спросил я, не скрывая удивления.

– В разведке выживал тот, кто успевал выстрелить точнее.

А главное – быстрее, – усмехнулся Халецкий.

Совершенно случайно я узнал от Шарапова – об этом в МУРе не ведал никто, – что он служил на фронте в разведротехалецкого; и так мне было трудно представить моего железного шефа в подчинении у деликатного, мягкого Халецкого, так невозможно было увидеть их вместе ползущими под колючей проволокой через линию фронта, затягивающимися от одного бычка, что легче было считать это выдумкой, легендой, милым сентиментальным вымыслом.

– Грех на моей душе, – сказал мне генерал. – Большого ученого я загубил, когда затащил Халецкого к нам в милицию...

Десять лет проработали они вместе в отделе борьбы с бандитизмом – был у нас такой «горячий цех» после войны. Но стало барахлить сердце, и Халецкий перешел в НТО. В сорок пять лет неожиданно для всех он написал учебник криминалистики, по которому теперь учат во всех школах милиции. Я знаю, что его приглашали много раз на преподавательскую работу, но из милиции он почему-то не уходит. Однажды я спросил его об этом.

– Мне новая форма нравится, – засмеялся он.

– А если серьезно?

– Серьезно? – переспросил Халецкий. – У меня есть невыплаченный долг.

– Долг? – удивился я.

– Да. Мой отец был чахоточный портной и мечтал, чтобы

я стал ученым. Ему было безразлично каким – врачом, инженером, учителем, только бы не сидел на портновском столе, поджав под себя ноги. Не знаю, выполнил ли я его завет, став криминалистом. Но моя совесть, разум, сердце все равно не позволили бы мне заниматься чем-то другим...

– Почему?

– Мне было восемь лет, мы ехали с отцом в трамвае. На Самотеке в вагон вошел огромный пьяный верзила и стал приставать к пассажирам. Когда он стал хватать какую-то девушку, мой отец, чахоточный, недомерок, портной по профессии, рыцарь и поэт в душе, подбежал к нему и закричал: «Вы не смеете приставать к женщине!» Хулиган оставил девушку и стал бить отца. Боже мой, как он его бил!.. – Халецкий снял очки, закрыл на миг глаза и провел ладонью по лицу. – Я кричал, плакал, просил людей помочь, а бандит все бил его, зверея оттого, что никак не может свалить его совсем, потому что после каждого удара отец поднимался на ноги со слепым, залитым кровью и слезами лицом и, выплевывая зубы и красные комья, которыми исходила его слабая грудь, кричал ему разбитыми губами: «Врешь, бандюга, ты меня не убьешь!» И все в вагоне онемели от ужаса, их сковал паралич страха, они все боялись вмешаться и стать такими, как отец, – залитыми кровью, с выбитыми зубами, и никто не завидовал огромной силе духа в таком маленьком, тщедушном теле...

– Вы хотели отомстить за отца всем бандитам?

– Нет, – покачал головой Халецкий. – Он не нуждается в отмщении. Я служу здесь для того, чтобы люди, которые едут в огромном вагоне нашей жизни, не знали никогда унижительного страха, который хуже выбитых зубов и измордованного тела...

Обо всем этом я вспомнил, снимая в прихожей квартиры Халецкого плащ и вешая его рядом с шинелью, которую надевают один раз в год. Халецкий сказал жене:

– Познакомься, Валя. Рекомендую тебе – мой коллега Станислав Тихонов, человек, который не женится, чтобы семья не отвлекала его от работы.

Жена махнула на него рукой:

– Мое счастье, что я за тебя вышла, когда ты еще там не работал. А то бы вы составили прекрасный дуэт. Жили бы себе, как доктор Ватсон с Шерлоком Холмсом.

Я пожал ей руку и сказал:

– Не вышло бы. У них там была еще миссис Хадсон, а сейчас сильные перебои с домработницами.

Она покачала головой:

– Вот с моими двумя оболтусами тоже беда: хоть убей, не женятся. А так бы хорошо было... – Она проводила нас в столовую и спросила меня: – Вы потерпите до ужина еще минут двадцать или уже неспособны?

– Конечно потерплю.

– И прекрасно, – обрадовалась она. – У нас сегодня туше-

ный кролик. И с минуты на минуту подойдут наши Миша с Женей, тогда сядем вместе за стол.

И добавила, словно извиняясь:

– Я так люблю, когда они вместе с нами... Большие они стали совсем, мы их и не видим почти.

– Мамочка, мамочка, сейчас сюда ввалится пара двухметровых троглодитов, и гость не сможет разделить твоей скорби по поводу того, что они редко с нами обедают, – сказал Халецкий, и в голосе его под налетом иронии мне слышна была радость и гордость за двухметровых троглодитов, и я подумал, что троглодиты Халецкого, которых я никогда не видел, должно быть, хорошие ребята.

Жена ушла на кухню, а мы уселись за стол, и Халецкий придвинул к себе стопку бумаги и толстый цанговый карандаш с мягким жирным грифелем.

– Так что там слышно с андаксином этим самым? – спросил я.

– Ну, андаксин я для примера назвал, дабы вам понятнее было, что это такое. – Халецкий короткими легкими нажимами рисовал на бумаге пса. – Но андаксин и элениум относятся к группе малых транквилизаторов. А вещество, исследованное нашими экспертами, – большой транквилизатор...

Пес на рисунке получался злой, взъерошенный, и выражение его морды было одновременно сердитое и испуганное.

– А чем они отличаются – большой от малого?

– В принципе это совсем разные группы химических со-

единений. Малые транквилизаторы относятся к карбомам, а большие – к тиазинам.

Халецкий поправил кончиком карандаша дужку золотых очков, отодвинул листок с разозленным псом в сторону и стал рисовать другого пса. Он был похож на первого, но рожа умильная, заискивающая, а хвост свернулся колбаской.

– Я буду вам очень признателен, если вы оторветесь от своих собак и объясните мне все поподробнее, – сказал я вежливо. – Меня сейчас собаки не интересуют.

– И зря, – спокойно заметил Халецкий. – Я рисую для вашего же блага, ибо не надеюсь на ваше абстрактное мышление. Ведь вы, сыщики, мыслите категориями конкретными: «украл», «побежал», «был задержан», «показал».

– Благодарю за доверие. – Я поклонился. – Отмечу лишь, что мои конкреции дают пищу для ваших абстракций...

Халецкий засмеялся:

– Сейчас, к сожалению, все обстоит наоборот: из моих туманных абстракций вам предстоит материализовать какие-то конкреции, и я вам заранее сочувствую. Дело в том, что и большие и малые транквилизаторы объединяются по принципу воздействия на психику. О малых – элениуме, андаксине, триоксазине – вы знаете сами, а большими лечат глубокие расстройства – бред, депрессии, галлюцинации. Из больших наиболее известен аминазин.

– А при чем здесь собаки?

– При том, что если разъяренной собаке дать в корме таб-

летку триоксазина, то она сразу же станет ласковой, спокойной и веселой.

– Так это же в корме! Если вы мне сейчас дадите маленько корма, я и без лекарства стану ласковым и веселым.

– Это я по вашему лицу вижу. Но разница в том, что собака впадает в блаженство от лекарства и без корма.

– Понятно. Так что, Позднякову дали здоровую дозу аминазина?

– Вот в этом вся загвоздка. Наши химики обнаружили в пробке вещество, не описанное ни в одном справочнике, – это не просто большой транквилизатор, это какой-то тиазин-гигант. В принципе он похож на аминазин, но молекула в шесть раз больше и сложнее. Короче, они затрудняются дать категорическое заключение об этом веществе.

– Что же делать?

– Дружить со мной, верить в меня.

– Я вам готов даже взятки давать, Ной Маркович.

– Я беру взятки только старыми почтовыми марками, а вы слишком суетливый человек, чтобы заниматься филателией. Поэтому я бескорыстно подскажу вам, что делать.

– Внимаю пророку научного сыска и филателии.

– Поезжайте завтра с утра в Исследовательский центр психоневрологии. Там есть большая лаборатория, которая работает над такими соединениями. Они вам дадут более квалифицированную консультацию, да и в разговоре с ними вы сможете точнее сориентироваться в этом вопросе...

В прихожей раздался звонок, хлопнула дверь, и две молодые здоровые глотки дружно заорали:

– Мамуленька, дорогая, мы с голоду подышаем!..

По-видимому, явились троглодиты...

* * *

...Ослепительно-белым солнцем залита вся Феррара, и только здесь, под тяжелым монастырским сводом университета, тенистая прохлада, и сквозь забранное в цветные стекла окно прорываются яркие квадраты света. На стуле с высокой спинкой тихо сидит ученый монах Мазарди, словно пребывая в дремоте, весь располосованный разноцветными пятнами крашенных солнечных лучей. На груди застыло тяжелое ярко-алое пятно, на живот сползло лимонное, на рукавах приплясывают мазки зеленые и пронзительно-голубые.

А лицо монаха залито фиолетово-синим туманом, и от этого смотреть на него страшновато. Мне жарко в суконном кафтане, щекотная струйка пота ползет между лопаток, но, не зная наверняка, спит ли он, я не шевелюсь. И он действительно не спит. Приподнял голову – лицо мгновенно окрасилось в багровый цвет – и сказал негромко:

– Ты дворянин, ты молод и здоров. Почему бы тебе не заняться дворянским делом: поступить в армию, разбогатеть и обойти походами мир?

– Мой батюшка, благородный Вильгельм Гогенгейм, по-

вторял мне неустанно, что убивать людей – грех, убивать за деньги – двойной грех, а быть убитым за нищие солдатские талеры – двойной грех и тройная глупость. Да и по своему разумению я не хотел бы умереть рано: у меня полно всяких планов.

Монах покачал головой, и по его миноритской тонзуре прыгнул желтый лучик.

– Мы не можем судить, рано умер человек или своевременно, ибо только Господь определяет нам пределы жизни, и не властны мы укорачивать ее или удлинять...

– Истинно верую в слова ваши, монсеньор. Я бы только не хотел вмешиваться в Божий промысел: мне кажется, что Господь направляет меня исцелять людей, а не убивать их.

Мазарди опустил тяжелые, набрякшие веки, мягко, ласково сказал:

– Укороти свой глупый дерзкий язык, наглый мальчишка. Переступив университетский порог, ты пять лет должен открывать рот только для того, чтобы повторять слово в слово то, что тебе будут говорить учителя. Тебе ничего не должно казаться, тебя никто ни о чем не спрашивает, ты ни о чем не думаешь, ни о чем не споришь, никогда не возражаешь – только уши твои широко открыты для благостного потока знаний, который оросит пустыню твоего неведения.

Запрыгали на его сутане цветные пятна, и был похож в этот миг Мазарди не на каноника, а на арлекина. Протянул для благословения руку, и я преклонил перед ним колени.

Почти шепотом, еле слышно монах сказал:

– Я предупредил: ты избрал негожее для дворянина ремесло лекаря, ибо профессия эта трудна, непочтенна и бедна. Ты хорошо подумал?

– Монсеньор, я не боюсь труда, поскольку я не из тонкой материи – на моей земле люди выходят не из шелкопрядильни. Почет своей профессии человек должен создать сам неутомимым трудом и искусным исцелением страждущих. И бедность меня не страшит, потому что взращен я не на плодах смоковниц, не на меду и сдобных хлебах, но на сыре, молоке и ржаных лепешках.

– Ты бойко говоришь, юноша. Посмотрим, сколь ты прилежен в изучении наук...

И я иду в класс.

Текут часы, дни, недели, семестры, годы, сменяются преподаватели, облетает листва на жасмине под окном, и снова надевает он свой белоснежный благоуханный наряд, и ничего не меняется, только двадцать здоровых балбесов, теряя сознание от однообразия и скуки, хором повторяют вслед за титором Эспадо:

– И заповедовал нам первый закон великий целитель Гиппократ: не повреди здоровую больного – природа сама знает, что является спасением...

Хрипло орем мы вослед:

– ...сама знает, что является спасением...

– И открыл нам Гиппократ, что зависит здоровье и бо-

лезнь человеческие от ненарушимых гуморес – соков организма...

– ...гуморес – соков организма, – вторим мы.

– Четыре главных сока организма – кровь, слизь, светлая желчь, черная желчь...

– ...кровь, слизь, светлая желчь, черная желчь...

– И присуща крови влажная теплота, слизи – холодная влажность, светлой желчи – сухое тепло, а черной желчи – холодная сухость...

– ...влажная теплота... холодная влажность... сухое тепло... холодная сухость...

– И если соки смешиваются в организме надлежаще – пребывает он в здоровье, а ненормальное смешение побуждает организм к болезни...

– ...побуждает организм к болезни...

– И есть гуморальная основа человеческого организма – истина, и пребудет несокрушимой во веки веков...

Может быть, я и принял бы все это за истину, если бы там не было всегда так душно. Но слезает с кафедры титор, и забирается туда лицензиат Брандт, рассерженный на весь мир горбун, и сипло начинает орать, потчужа нас палкой, если мы не проявляем достаточного усердия:

– Запомните, скоты безрогие, что не было, нет и не будет в мире господнем врача, равного мудростью своей римлянину Галену. Знайте, ослы, что воздвиг сей достойный муж на фундаменте Гиппократовых знаний великое здание меди-

цины, неколебимо зиждящееся более полутора тысяч лет, и стоять оно будет вечно, ибо никто не смог проникнуть в таинство лечения так глубоко и верно, как Гален. Поймите раз и навсегда, поглотители кислого вина и тухлых бобов: то, что существует шестнадцать веков, уходит в вечность, оно несокрушимо и непогрешимо. Учтите, ласкатели пьяных потаскух, что в учении Галена всё – от альфы до омеги, каждая буква, каждый непонятный нам знак – святая истина, непогрешимая и неисчерпаемая в мудрости своей. Поняли, дурацкие морды, похотливые козлы, грязные чревоугодники?

– Поняли! – блажными голосами кричим мы, и я совсем тупею от этого унылого идиотизма.

А лицензиат Брандт, размахивая тростью, надрывается:

– Не вам, обжорам, распутникам и лентяям, а великому Галену отчеканил император Антоний золотую медаль с надписью: «Антоний, император римлян, – Галену, императору врачей». И как власть монаршая, Богом освященная, вечна, так пребудет вечно в умах учение Галена...

Флорентиец Коломбини бормочет с места:

– От империи Антония не оставил ни камня, ни памяти Алларих, вождь вестготов.

Брандт проворно соскакивает с кафедры:

– Кто перебил учителя? Ты, Гогенгейм? Ты ведь всегда хочешь быть умнее всех...

– Господин лицензиат, мои уста замкнуты на замок безграничного почтения к вам. Когда вы вещаете, я вкушаю сла-

дось и аромат вашей речи...

– Замолчи, идиот. Вы, швабы, все идиоты, картежники и поглотители пива. Значит, перебил меня ты, Франсуа Амбон.

– Я... я... я... – начинает вытягивать свою долгую песню заика Амбон.

– Замолчи, мне некогда выяснять, кто из вас дерзец. Один из вас должен быть наказан, и сегодня это будешь ты.

И палка с визгом запрыгала по голове, по плечам, по спине несчастного заика Амбона, и сердце мое исполнено сочувствия к нему, потому что вкус палки Брандта мне ведом лучше, чем кому-либо другому из всех штудиоров. Я не сержусь на Брандта – он не может относиться ко мне по-другому, будучи ростом как раз мне до пояса. Маленькие человечки всей своей натурой ненавидят долгоязыких.

Брандт поспешно возвращается на кафедру:

– Повторяйте за мной и запоминайте с прилежанием, ибо вы, дармоеды, готовы терпеть даже побои, лишь бы не учиться. Вторите мне: Гален многомудрый указал – природа ничего не делает без цели...

– ...ничего не делает без цели...

– Писано было Галеном, что состоит наш организм из четырех гуморес, и равновесие этих жизненных соков – крови, слизи, желчи светлой и черной – поддерживается могучей и непознанной силой по имени физис...

– ...силой по имени физис...

– И должен врач вмешиваться в болезнь, только если зрит очами своими явно, что наступило расстройство физиса, не владеющего больше могуществом смешения четырех соков, и самый искусный врач тот, кто лечит наблюдением над физисом, не вмешиваясь в ход природных соков организма...

– ...не вмешиваясь в ход природных соков организма...

– Ибо человек – только плотская машина, подчиненная душе.

– ...плотская машина, подчиненная душе...

– Черпает силы физис из пневмы, которая входит в нас при дыхании...

– ...входит в нас при дыхании...

– Всё поняли, безмозглые быки?

– Всё поняли, господин лицензиат!

– Урок закончен, идите с миром, хотя сердце мое скорбит о том, что вы наверняка используете свободное время не для познания мудрости, а для грязных и греховных усад. Аминь. Пошли вон отсюда...

И мы не тратим, конечно, свободное время для познания университетской мудрости – ее и так дают нам слишком много; мне хватило ее на всю жизнь, и впоследствии с отвращением к самому себе, даже против воли, я цитировал на память огромные куски из Галена, Авиценны и Аверроэса...

Глава 4

К вопросу о царевне Несмеяне

Исследовательский центр помещался в современном современном здании – сплошь стекло и пластик. Издали он был похож на аэропорт, а внутри на зимний стадион. Стекло было кругом: стеклянные витражи, стены, часть потолков, и только турникет за стеклянными дверями у входа был металлический. Турникет казался частью тела вахтера, усовершенствованным продолжением его корявого туловища, блестящим окончанием рук. Вахтер внимательно рассматривал мое удостоверение, читал его снова и снова, как будто надеялся найти в нем что-то такое, что разрешило бы ему меня не пропустить. Но пропуск был заказан, и в удостоверении, наверное, оказалось все нормально, потому что он сказал:

– Ну что ж, проходите. – И в голосе его плыло сожаление.

Вверх по лестнице – два марша, бесконечный коридор, поворот направо и стеклянная дверь с надписью «Секретарь». Я всегда заново удивляюсь, когда на двери руководителя не пишут его фамилию; на приемной указано «Секретарь», будто секретарь и является здесь самой главной фигурой, а имя Того, Чей вход она охраняет, лучше не называть.

В этом стеклянном аквариуме царила сказочная тропическая рыбка. Рыбке было лет двадцать, и выглядела она очень строгой. И оттого, что она была строгой, казалась еще моло-

же и красивее. Я поздоровался с ней и сказал:

– Вы похожи на подсолнух. У вас длинные желтые волосы, черные глаза, а сама вы тоненькая и в зеленом костюме.

На что она мне ответила:

– Вам было назначено на тринадцать часов, вы опоздали на семь минут.

Я сказал:

– Ваш вахтер виноват. Он продержал меня восемь с половиной минут, рассматривая удостоверение.

– Объясните все профессору Панафидину. Александр Николаевич сам никогда не опаздывает и не любит, когда это делают его визитеры. Теперь сидите ждите, у него товарищи, он освободится минут через сорок.

– Прекрасно, – сказал я. – У вас буфет или столовая есть?

– На нашем этаже есть буфет, – не выдержала, улыбнулась рыбка. Видимо, ее рассмешило, что я из неудачи хочу извлечь вполне конкретную пользу. – Приятного аппетита.

– Спасибо. – И я отправился искать гастрономический оазис в этой стеклопластиковой канцелярской пустыне.

В другом аквариуме, точно таком же, как тот, где обитала тропическая рыбка-секретарша, стояла кофейная экспресс-машина и за дюжиной столиков расположилось довольно много людей. На меня не обратили ни малейшего внимания, я взял свою чашку кофе с бутербродами, сел за свободный стол в центре комнаты и не спеша огляделся. За соседними столиками люди были озабочены и беззаботны,

молоды и зрелы, веселы и мрачны, и разговоры их прозрачным мозаичным куполом висели над моей головой:

– Да что ты мне баки заливаешь? При чем здесь эффект Мессбауэра?..

– В Доме обуви вчера давали сапоги на платформе по восемьдесят рэ. Потряска!..

– Перцовскому оппонент диссертацию валит...

– Брось ты, его Витторио Гасман играет. Он раньше в «Обгоне» снимался...

– А вы еще продукт на ЯМР не сдавали?..

– Да не надо ему было за фосфозены браться. Он же в этом ничего не петрит...

– Конечно везун – и все. Ему «Арарат» с золотыми медалями сам в руки упал...

– А мы на осциллографе сняли все кривые. Не-а, с кинетикой вопросов нет...

– Валька Табакман в отпуске на Чусовой был. Икону обалденную привез – пятнадцатистворчатый складень, закачаешься. Он ее глицеральдегидом чистит...

– В Сибирском отделении кремнийорганики нужны. Если с катализом сорвется, ты подумай...

– Ну и жуки! Пронякин только отбыл в ИОНХ, они тут же притащили в дьюаровском сосуде пять литров пива и в мuffle шашлыка нажарили – красота...

– Галке муж из Болгарии дубленку привез...

– А зачем? Можно ведь рассмотреть физический смысл

кольца Мёбиуса...

– Ничего не значит – Сашку Копытина у нас четыре года младшим продержали, а в Нефтехиме он за два года докторскую сделал...

– А я плюнул на все, везде наодолжался и за кооператив внес. Две сто – Северное Чертаново...

– Панафидин строит сейчас какую-то грандиозную установку...

– У Риммочки в субботу день рождения был...

– Пенкосниматель – ваш Панафидин...

– Талантливых людей никто не любит...

– Девчонки из его лаборатории стонут – присесть некогда...

– Панафидин лентяев не держит...

– Он себе «жигуля» красного купил...

– Роба у него самодовольная...

– Бросьте, девочки, он очень цельный человек...

– ...Панафидин...

– ...Панафидин...

В стерильно чистом кабинете и намека не было на так называемый творческий беспорядок. Каждая вещь стояла на своем месте, и чувствовалось, что, прежде чем поставить ее сюда, хорошо подумали. Но, пожалуй, больше всего на месте был хозяин кабинета. Такого профессора я видел впервые в жизни: ему наверняка и сорока еще не было. Жили-

стый, атлетического вида парень в элегантных очках, шикарном темно-сером костюме «эври-тайм», ярком, крупно завязанном галстуке с платиновой булавкой. И лицо, безусловно, «штучное» – я на него просто с завистью смотрел. Длинные соломенно-желтые волосы, могучие булыжные скулы, чуть впалые щеки, несокрушимый гранит подбородка. А за продолговатыми стеклами очков, отливающих голубизной, льдились спокойные глаза умного, хорошо знающего себе цену мужчины.

И от всего этого человеческого монолита, свободно расположившегося в удобном кресле за сверкающей крышкой пустого письменного стола, веяло такой железной уверенностью, таким благополучием, такой несокрушимой решимостью сделать весь мир удобным для потребления, что я немного растерялся и сказал как-то неуверенно:

– Вам должны были звонить обо мне. Я инспектор МУРа Тихонов...

– Очень приятно. Профессор Панафидин. Прошу садиться.

И я сразу обрел утраченную на мгновение уверенность, потому что из этого сгустка целенаправленной человеческой воли тоненьким голосом пропищала обычная людская слабость – рядовое маленькое тщеславие, ибо в традиционной формуле приветствия и знакомства я уловил горделиво-радостное удовольствие от произнесенного вслух своего титула – символа принадлежности к особому кругу отмеченных бо-

жым даром людей. И еще я понял, что профессорское звание Панафидин носит недавно.

Я уселся в кресло, протянул Панафидину криминалистическое заключение и отдельный листок с вычерченной экспертами формулой вещества, извлеченного из пивной пробки.

– Нам нужна ваша консультация по поводу этого вещества. Кем производится, где применяется, для чего предназначено.

Панафидин бегло прочитал заключение, придвинул листок с формулой и внимательно рассматривал ее; при этом он шевелил верхней губой и указательным пальцем двигал по переносице очки. Я разглядывал пока кабинет. На подоконнике лежала прекрасная финская теннисная ракетка, а в углу, рядом с вешалкой, белая спортивная сумка с надписью «Adidas» – предмет вожделения всех пижонов. Панафидин поднял на меня сине-серые, чуть мерцающие, как влажный асфальт, глаза, спросил:

– А у вас что, есть такое вещество? – И мне показалось, что он взволнован.

– У меня – нет, – сказал я.

Я готов был поклясться, что Панафидин облегченно вздохнул. Отодвинув листок, сказал с холодной усмешкой:

– Ваши эксперты ошиблись. Это артефакт. – И снисходительно пояснил: – Искусственный факт, научная ошибка, небыль.

– Почему? – настороженно спросил я, совершенно отчетливо заметив растянутый на несколько мгновений перепад настроения Панафидина.

– Потому что такого вещества, к сожалению, еще не существует. – Панафидин кивнул на листок с эскизом формулы. – Эта штука называется «Пять-шесть диметиламинопропилен-десять-семнадцать-дигидрооксибен-эоциклогептан гидрохлората». Похоже на сильнодействующее лекарство триптизол, но, видимо, во много раз сильнее за счет аминовых групп...

– Как же вы можете запомнить такое? – с искренним недоумением спросил я.

– Во-первых, я читаю по формуле, – усмехнулся Панафидин. – Во-вторых, мы сами занимаемся этим. Довольно давно. И к сожалению, пока безрезультатно.

– То есть вы хотите сказать, что науке неизвестно это вещество?

Видимо, я сказал что-то не так, потому что Панафидин снова – еле заметно – усмехнулся и пояснил:

– Химикам известно это соединение, но только на бумаге. Получить его, хотя бы лабораторно, «ин витро», нам пока не удается.

– Чем же объясняется ваш интерес к этому соединению?

– По нашим представлениям, это транквилизатор гигантского диапазона действия. Существование такого лекарства могло бы произвести революцию в психотерапии...

– В чем отличие его от существующих транквилизаторов?

Панафидин задумчиво покрутил пальцем на столе зажигалку – красивую обтекаемую вещицу, похожую на кораблик, – внимательно посмотрел на меня:

– По-видимому, вы в этих вопросах не совсем компетентны, поэтому я постараюсь упростить все до схемы. Суть состоит в том, что двадцать лет назад доктор Бергер выпустил из бутылки джинна, которому ученые присвоили название «транквилизатор», то есть «успокаивающий». Началась эра прямого воздействия химии на психическое состояние человека. В целом это было исключительно своевременное открытие, потому что неизбежные вредные последствия научно-технического прогресса – умственные перегрузки, бешеный поток информации, уровень шума, общий темп жизни – все стало обгонять способность нашей психики прилагаться к переменам в мире.

Зазвонил телефон.

– Извините, – сказал профессор и снял трубку. – Панафидин у телефона. А-а! Сколько лет, сколько зим! В наше время, чтобы дружить, надо или жить рядом, или вместе работать... Если хочешь, приезжай сегодня на стадион «Шахтер», там прекрасный корт... Нет, я на «Химик» не езжу – неинтересно. Ну и отлично! До вечера, обнимаю. – Панафидин опустил трубку на рычаг и без малейшей паузы продолжил: – Результатом отставания нашей психики от прогресса явились нервные перегрузки, депрессии, необъяснимые

страхи. И тут появились транквилизаторы, снимающие подобные явления. Естественно, что они стали широко применяться во всем мире...

Я перебил Панафидина:

– На какие органы воздействуют транквилизаторы?

Панафидин чиркнул зажигалкой, закурил сигарету, подул, отгоняя от себя синее облако дыма, затем не спеша сказал:

– На лимбическую систему – есть такая между большими полушариями мозга и его стволом. Грубо говоря, именно здесь рождаются человеческие эмоции. Так вот, после открытия Бергера химики, психиатры и психологи стали искать во всех направлениях аналогичные лекарства.

– Вы сказали: «Химики стали искать». Что, подбирать на ощупь? – спросил я.

– Ну, не совсем так. Скорее, даже совсем не так. Конечно, элемент слепого поиска присутствует в любом эксперименте, но мы выбираем вещества одного класса и группы. И препарат мы ищем с заранее запрограммированными свойствами.

– И вот это, – я кивнул на листок с формулой, – должно реагировать по заданному механизму?

– Да, мы твердо рассчитываем на это. Но, к сожалению, вещество сие пребывает пока только в области наших научных планов и пожеланий. Интерес химиков и врачей к нему таков, что еще не полученное соединение уже окрестили – мы называем его метапропtizол. Вот только получить его еще

никому не удалось, во всяком случае по моим сведениям, а мы следим за всей мировой литературой по этому вопросу.

Я спросил:

– А почему вы считаете, что такое лекарство произвело бы революцию?

– Хм! Постараюсь объяснить популярно. Вы помните сказку про царевну Несмеяну?

– Ну?

– Царевна была печальна, удручена, несчастна. И никогда не смеялась. Потом явился Иван-царевич, дал ей что-то, волшебную ягоду, что ли, не помню. И Несмеяна засмеялась. Улавливаете?

– Нет пока...

– Мифы основаны на важных истинах. Девочка Несмеяна была психически больна. Иван-царевич дал ей какой-то неведомый транквилизатор – и она выздоровела. Так возник миф. А действительность... ну что вам сказать? С помощью большого транквилизатора можно было бы побороть гипертонию, язвы, депрессии, невроты. Шизофрению, наконец. Главный же смысл лекарства в том, что оно снимало бы полностью человеческие нервные перегрузки. Человек был бы избавлен от таких состояний, как страх, испуг, подавленность.

– Вот, оказывается, как это просто, – сказал я. – Науке остается только получить лекарство – и порядок. Раскрыть, так сказать, секрет Ивана-царевича...

– К сожалению, это не так просто. Дело в том, что мы пока что самого-то Ивана плохо знаем. Человечество зазналось от своих микроскопических научных побед. Человека распирает гордость оттого, что он топает по Луне, спустился на дно океана, поймал чуть ли не в ладонь нейтрино. Но о самом себе человек не знает почти ничего. Почти ничего или катастрофически мало.

Я поднял руки:

– Не разочаровывайте меня. Я был лучшего мнения о достижениях медицины.

– Не надо понимать меня слишком буквально. Современная наука не разделяет точки зрения Заратустры, который считал печень местопребыванием всех страстей и огорчений. У нас другая позиция. Однако, если оценивать мир достаточно трезво, не больно-то далеко мы ушли от этих представлений.

Я ухмыльнулся:

– У вас отношение к человеческому существу еще проще, чем у патологоанатома.

Панафидин пожал плечами:

– Откуда ему взяться, другому отношению?..

Зазвонил телефон. Панафидин извинился и снял трубку:

– Владимир Петрович! Я вас приветствую. Разумеется, помню обо всем и подтверждаю: долг платежом красен. Да, да, да, это я понимаю. Но вы и меня поймите – мне тоже надо лавировать. Лично быть оппонентом я готов хоть завтра, а

обещать свою контору в качестве оппонирующей организации – не могу... А я вам и говорю прямо и честно: так за мои труды мне и хула и почести, а так – на дядю работа. У меня и без того со временем туго, не хватало еще, чтобы кто-то на моем хребте в рай въезжал... Это пожалуйста – думайте. Обнимаю вас, мой дорогой... – Он положил трубку и хмыкнул: – Ишь, деятели, дурачков ищут. Ну ладно, вы сетовали на упрощенность...

– Не будем спорить, – сказал я примирительно, потому что понял, что дискуссия может завести нас слишком далеко. Я взял в руки листок с нарисованной чудовищной формулой, посмотрел на него, и было мне это совершенно непонятно. – Александр Николаевич, вы сказали, что по формуле вещество похоже на триптизол. Какая, по вашим наблюдениям, доза триптизола понадобилась бы, чтобы здоровый человек, приняв ее, через десять – пятнадцать минут потерял сознание?

Панафидин удивленно посмотрел на меня:

– Странный вопрос, мне никогда не приходилось с ним сталкиваться. Ну, прикинем. – Он взял ручку, написал что-то на листе бумаги, что-то перемножил. – Думаю, что таблеток тридцать в обычной расфасовке по ноль двадцать пять миллиграмм на порцию. А что? Почему у вас возник такой вопрос ко мне, если не секрет?

Я подумал и решил, что ему можно сказать.

– Дело в том, что вот этим веществом, которого, как вы

полагаете, еще не существует даже в лабораторных количествах, был отравлен человек. Нам очень интересно, откуда преступник мог его взять.

Панафидин вскинул на меня глаза, и мне показалось, что он побледнел.

– Отравлен? – переспросил он каким-то осевшим голосом. – Минуточку... Минутку... А почему вы думаете, что именно метапропизолом?

– Не я так думаю, эксперты наши говорят...

– Понятно, что не вы думаете!.. – с неожиданной для меня злой досадой перебил Панафидин. – На каком основании они пришли к такому выводу? Труп исследовали?

– Не-ет, до этого дело не дошло, – сказал я, и мгновенный испуг окатил меня холодной волной, когда я представил себе Позднякова мертвым. – Человек-то выжил...

– Так что же они исследовали, черт возьми?! – закричал Панафидин, и тут же зазвонил телефон. Он рывком схватил трубку, не слушая, рывкнул: «Я занят. Позже!» – и шваркнул трубку с такой силой, будто хотел выместить на ней злость на мою непонятливость. – Что? Откуда они пришли к этой формуле? Какое вещество они исследовали?!

Я сказал спокойно:

– Пробку от пивной бутылки. В бутылке был растворен яд...

– Пробку? Но там же ничтожно малые следы... Разве могут ваши эксперты...

– Могут, – авторитетно сказал я и вспомнил Халецкого. –

Наши эксперты все могут.

Панафидин резко поднялся:

– В таком случае я хотел бы сейчас же поговорить с ними.

И посмотреть протоколы анализов... если можно.

– К сожалению, экспертов нет сегодня, – сказал я на всякий случай. – У них республиканское совещание. Через день-два – пожалуйста.

Панафидин сел.

– Черт побери все совещания... – сказал он почти механически и надолго задумался, энергично растирая лоб холерными длинными сильными пальцами. – Нет, не может быть. Артефакт. Артефакт... Ошибка...

Я пожал плечами, а Панафидин продолжал бормотать себе под нос:

– Ну, хорошо, отравили, допустим. Но почему, зачем метапроптизолом?! Чужь какая! Сколько ядов существует! Так или нет, инспектор? Я вас спрашиваю!

– Вам виднее, – сказал я нейтрально.

Тут, вероятно, новая мысль промелькнула у Панафикина, и он спросил быстро:

– Преступник задержан?

– Мы с этим разбираемся, – ответил я уклончиво. – Факт тот, что, если эксперты не ошиблись и вещество все-таки открыто, первой же дозой его преступник распорядился совсем не по назначению.

– А кого отравили? Опять же, если не секрет?

– Был отравлен работник милиции, – сказал я. – Преступник похитил у него пистолет и служебное удостоверение.

– Азия какая, дикость, – пробурчал Панафидин, взяв наконец себя в руки. – Сотни людей ищут соединение, чтобы исцелить страждущих, а какой-то дикарь травит им здорового человека.

И снова зазвонил телефон. Уже не извиняясь, Панафидин снял трубку:

– Да, я. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич... Что Соколов? Три года его аспирантского срока истекли, эксперимент он закончил, пусть теперь уходит и пишет на покое диссертацию. Нет, я его на этот срок к себе не возьму. Мне это неприятно вам говорить, но вы знаете мою прямоту и принципиальность в научных вопросах. Ваш Соколов – парень хоть и неглупый, но неорганизованный и полностью лишенный интуиции синтетика. Он работы не понимает, не имеет к ней вкуса и интереса, он не любит химию. А за прекрасные анекдоты и шутки, которыми он три года развлекал лабораторию, я держать у себя захребетника не стану. Вы уж простите меня, но я лучше в глаза всегда скажу. Пусть сам побарахтается. Нам ведь с вами никто диссертаций не писал, а защищались мы досрочно потому, что свое дело любили и кусать хотели. Ну, этого я не знаю, решайте по своему усмотрению. – И закончил злобно: – Всего вам доброго.

Он помолчал, потом, повернувшись ко мне, сказал:

– И все-таки я думаю, здесь недоразумение. Я не верю, что какой-то химик получил это соединение и не понимает, что у него в руках.

– Вы не верите в возможность случайного открытия этого соединения?

Панафидин раздавил окурочек в пепельнице, усмехнулся:

– Ваш вопрос прекрасно иллюстрирует общие представления людей о характере нашей работы. Бродим все впотьмах, вдруг одному повезло: бац! – великое открытие. И как клад извлечено на всеобщее обозрение. Так сейчас не бывает.

– А как бывает? – смиренно спросил я, хотя он мне уже прилично надоел своей ученой гоношливостью, но мне не хотелось, захлопнув его дверь, ставить на деле точку. И, кроме того, еле заметное и все-таки уловленное мною волнение Панафидина будоражило мой сыскной нюх. Что-то он знал, или догадывался о чем-то, или имел какое-то дельное предположение, но говорить не хотел.

– Наука очень специализировалась. И в каждой ее области масса прекрасных специалистов занимается тончайшими проблемами. И когда совокупность их знаний достигает необходимого уровня, кто-то из них кладет последний кирпичик – часто совсем крошечный кирпичик, – и великое здание открытия завершено.

– Может быть, кто-то и положил уже этот кирпичик в здание метапропизола?

– Нет, – покачал он головой. – Я ведь сам прораб на сей стройке и знаю, что у кого сделано: мы этот дом еще под крышу не подвели.

– А вдруг, пока вы тут свой храм из кирпичей складываете, вот тот самый отгрохал коробку из бетонных блоков – и привет?

– Все возможно. Но для этого надо быть в математике – Лобачевским, в физике – Эйнштейном, а в химии – Либихом. У вас есть на примете Либих? – спросил Панафидин, поднялся и сказал: – Я часто задумываюсь над удивительным смыслом своей профессии. Я химик, может быть, это объясняет некоторую мою тенденциозность, но постепенно в моем мировоззрении возник этакий химикоцентризм. Действительно, химия проникает повсюду: страх – адреналин в крови, радость – норадреналин в крови. Кофточки, резиновые покрывалки, любовь, платья, костюмы, деторождение, заводы, удобрения, урожай – все становится зависимым от химии. Химия впереди всей человеческой науки...

– Ну а если считать, что все новое – лекарства, идеи, теории, машины, моды – все исходит от науки, то вы – впереди всего человечества! – Я усмехнулся и, не давая возможности Панафидину ответить, спросил: – Не могли бы вы показать мне вашу лабораторию? – И на всякий случай уточнил: – Ту, где вы работаете над метапроптитолом.

– Почему не могу? Пожалуйста...

Панафидин достал из стенового шкафа белый халат, под-

синенный, накрахмаленный, выглаженный до хруста, натянул на широкие плечи.

– Пошли? Вам халат дадут в лаборатории...

Но мы не успели выйти, потому что еще раз зазвонил телефон.

– Панафидин. А-а, здравствуй, здравствуй. Да, у меня люди. Я убегаю, позвони через час... Ну, тогда давай договоримся: в субботу без четверти семь у входа в Дом кино. Да, да, мне Гавриловский билеты оставит. Ну, не знаю я – надень что хочешь... Да – во всем. И всегда. И больше никто. И никогда. Всего доброго...

Аквариум с желтоволосой тропической рыбкой, стеклянная дверь, пластиковый бесконечный коридор с неживым дневным светом, поворот налево, переход направо, темный холл, разломленный столбом дымящегося солнца, лестница – два марша вверх, коридор, выкрашенная белилами дверь с табличкой «Лаборатория № 2».

В большой комнате с многостворчатым окном работало четверо.

– Здравствуйте, друзья, – сказал Панафидин.

Люди рассеянно оглянулись, разноголосо прокатилось по комнате:

– Здравс-те, Алексан-Никола-ич...

Ни на мгновение не отрываясь, все продолжали заниматься своим делом. Одна из сотрудниц собирала на длинном столе у торцевой стены грандиозный прибор: в нем было

штука пятьдесят колб, разнокалиберных пробирок, стеклянных соединительных трубок, краны, нагреватели. В различные узлы этого хрупкого и очень гармоничного сооружения были вмонтированы электрические датчики, подключены приборы, сигнальные лампы, в овальный герметический баллон литров на десять впаяны похожие на игрушечные лопатки электроды, соединенные с индукционным генератором.

За столом у окна коренастый паренек с модной прической колдовал над прибором.

– Как дела, Сережа? – обратился к нему Панафидин.

Парень помотал головой из стороны в сторону:

– Разваливается продукт, Александр Николаевич.

– Я тебе достал молекулярные сита на три ангстрема, зайди ко мне.

В приборе булькала, закипая, какая-то жидкость. Центром прибора, видимо его главной частью, была крупная трехгорлая колба, под которой курилась паром водяная банька. В среднее, широкое, горло опускался гибкий привод от моторчика – двухлопастная мешалка непрерывно взбалтывала содержимое сосуда. Через правый ввод в колбу спускалась капельница, отдельно сочившая желтые тяжелые бусинки. В левое горло был введен радиационный охладитель – стремительно взлетающие по трубке пары оседали каплями на омываемом циркулирующей водой стекле и медленно стекали снова в колбу.

Панафидин, остановившийся за моим плечом, сказал:

– Так называемая реакция Гриньяра. Но главная наша надежда там. – Он махнул рукой в сторону системы у стены. – Она должна сработать...

И мне послышались в его голосе горечь, усталость, почти отчаяние.

– В чем у вас главная трудность? – спросил я.

– Молекула не держится. В схеме она состоит из нескольких очень больших блоков. Но чтобы устойчиво соединить их, в колбе нужен определенный режим – температура, давление, свет, катализаторы. Для каждой отдельной связи в молекуле мы параметры определили. А все вместе – никак... Это очень трудно.

Да, наверное, это действительно трудно – быть впереди всего человечества.

К нам подошла женщина, которая собирала огромный прибор, поразивший мое воображение. Она сухо кивнула мне и сказала Панафидину:

– У меня с двух часов семинар с практикантами.

– Хорошо, Аня. Познакомься, это инспектор Тихонов. – Повернулся ко мне: – Анна Васильевна Желонкина, мой заместитель в лаборатории.

Желонкина? Совпадение? Я не мог вспомнить инициалы жены Позднякова – ее объяснение я читал в деле. И на всякий случай, не мудрствуя, спросил:

– Простите, а как фамилия вашего мужа?

– Поздняков, – ответила она быстро и добавила: – Можно подумать, что вы не знаете.

Панафидин удивленно переводил взгляд с Желонкиной на меня, потом сказал:

– Ах да, я же забыл: муж Анны Васильевны тоже в милиции работает...

Желонкина бросила на него короткий взгляд:

– Вы полагаете, что все работники милиции дружат домами?

Я вмешался:

– Мне с вами надо поговорить, Анна Васильевна.

– В четыре часа я буду у себя в кабинете...

Жена Позднякова знала об истории, которая с ним приключилась. И мужу своему не верила. Конечно, она мне этого не сказала, но я видел, что она ему не верит и не жалеет его. Вообще Анна Васильевна Желонкина показалась мне человеком, раз и навсегда усвоившим, что жалость унижает человека. Лицо у нее было грубоватое и красивое, хотя твердые, прямые морщины у глаз и крыльев носа уже наметили тот зримый рубеж, перевалив за который красивая женщина сразу превращается в величественно-каменную старуху.

И от старания не показать мне, что ей не жалко завравшегося, бестолкового мужа, и от стыда за его позорное поведение Анна Васильевна хотела придать всей истории этакий анекдотический характер: мол, в подобных делах можно

было бы проявить сочувствие и понимание – с кем из вас, мужиков, такое не может приключиться? Для убедительности она помахала в воздухе маленькой деревянной указочкой, и, завершая ее последний ответ, который одновременно был укором, указочка описала петлю и проткнула в воздухе точку: действительно, с кем из нас, мужиков, не может приключиться такое?

Я поймал конец указочки, прижал ее к столу и ласково сказал:

– Анна Васильевна, мне кажется, вы не улавливаете, о чем я вас спрашиваю...

– А что?

– Да то, что с нами – мужиками из милиции – это никогда не должно приключаться. Если же приключается, то за это отдают под суд. И как раз в этом положении сейчас находится ваш муж. Понятно?

Она высвободила указочку из-под моего пальца и постучала по столу, и я видел по ее лицу, что охотнее она бы стучала по моему лбу. Только гораздо сильнее – лучше всего с размаху. Постучала она все-таки по столу и сказала:

– Мне-то понятно. Боюсь только, что не улавливаете вы. Я вам уже говорила, что наша семья фактически распалась несколько лет назад. Ничего плохого о Позднякове сказать вам не могу.

– А хорошего?

– Хорошее о нем у вас надо спрашивать – вы его, навер-

ное, чаще видите...

Когда я вошел в кабинет со стеклянной табличкой «К. х. н. А. В. Желонкина», Анна Васильевна занималась с дипломниками. Она попросила меня подождать и минут пять толковывала задумчивому студиязусу, что радикал – диметиламинопропил – в условиях сублимации из ортопозиции, минуя метапозицию, незамедлительно перейдет в парапозицию, ослабнет углеродная связь, и радикал будет замещен свободным атомом азота. Что дальше? Вещество мгновенно развалится. При этом она все время водила указочкой по схеме, на которой была изображена огромная молекула, похожая на грубо оборванный кусок пчелиного сота, и приговаривала:

– Ну что здесь непонятного? Ведь тут все так ясно, ну просто очевидно!..

Студиязусу хождения радикала явно не представлялись такими очевидными. Я же и вовсе был не способен проникнуть в мир, устройство которого так ясно представляла себе «к. х. н. А. В. Желонкина», огромный, невероятно сложный микромир, где каждая черточка схемы была стропилом или опорой удивительного здания вещества. А для меня он давным-давно стерся и растворился в маленьком ручейке школьного полужнания загадочной и тогда мне совсем неинтересной науки, о которой сохранилась в памяти только дурацкая школярская припевка: «Химия, химия – вся макушка синяя». И потому я буквально нутром прочувствовал

то почтительно-обреченное уважение и безнадежность что-либо изменить, которые испытывал инспектор Поздняков к своей жене: «...сейчас она большой человек, можно сказать – ученый, а муж у ней – лапоть необразованный...»

Студент-дипломник ушел, и мы погрузились в круговорот извилистого, запутанного мира двух немолодых уже людей, двадцать лет строивших непонятное здание своей жизни, где в условиях жаркой человеческой сублимации один из них незаметно перешел из ортопозиции в парапозицию: все годы был рядом, а вдруг оказался напротив, и тогда ослабли связи и, казалось бы, нерушимое вещество их союза мгновенно развалилось. Почему? Привычное место было замещено свободным атомом? Или здесь происходили какие-то другие, более простые или более сложные процессы? И вообще, может быть, это не имеет никакого отношения к валяющемуся на газоне стадиона беспамятному и бесчувственному Позднякову? Пьяному? Или все-таки отравленному?

– Это вас не касается, – сказала Анна Васильевна. На тяжелом ее лице быстрые глаза в длинных ресницах скользили легко, почти незаметно. – Я вам повторяю, что вы не вправе задавать мне такие вопросы.

– Да почему? – удивился я, ощущая, как моя настырность крепнет на жестком каркасе злости. А допытывался я, почему они с мужем не разводятся, коли все равно уже сколько лет не живут семьей.

– Потому что развод – наше личное дело.

– Да, так оно и было до того момента, пока не случилась вся история. А теперь это уже и наше дело.

– Вот пусть он и оправдывается перед вами, а меня оставьте в покое...

Скверная баба какая! Мне стало почему-то жалко, что она знает столько прекрасных премудростей о тайнах вещества с удивительной схемой-формулой, похожей и на пчелиные соты, и на фрагмент циклопической кладки, и на старый лабиринт, и на придуманное космическое сооружение. Конечно, лучше было бы, если бы это знание досталось человеку поприятнее. Но знание не получают в наследство – его получают те, кто достоин. «За партой, случалось, засыпала...»

* * *

...И все равно незабвенны университетские годы, а феррарская жизнь солнечна и прекрасна, потому что никогда не забыть человеку тех мест, где он незаметно превращается из застенчивого долговязого юнца в мужчину, не изгладит время из памяти сладости первого неуверенного поцелуя, не сотрется радостно-светлая дрожь первого объятия, и хорошенькая трактирщица, у которой ты впервые проснулся на теплой груди, останется для тебя навсегда прекрасной и непонятной, как герцогиня Феррарская Лукреция Борджиа.

Молодость – лучшая приправа для нашей бедняцкой еды – вареных потрохов с горохом, веселье превращается в зо-

лотой кубок для дешевого вина, которое мы пьем с хохотом и шутками, а ненасытная страсть делает ненужной пуховую постель с парчовым пологом.

Два года я поднимался по лестнице науки, пока не удостоился высокой чести – мне вручили грамоту бакалавра, класс младших студентов и круглую шляпу без полей. Из тех тридцати, с кем я впервые сел на учебную скамью, осталось двенадцать.

Еще через два года мы держим экзамен, и шестерым из нас дают трость и степень лиценциата медицины.

И еще два года мы учили младших и зубрили сами, пока не пришел мне час однажды светлым майским днем подняться на кафедру и прочитать лекцию кворуму университетских бакалавров, магистров и лиценциатов о строении костяка человека – на основании собственных наблюдений в анатомическом подвале. Диспутантом был мне лиценциат Брандт, и спорил он со мной как-то неуверенно, будто его смущало, что не может он придать живости нашему разговору, обогрев меня по голове своей тростью. Он сел на место, возгласив полатыни: «Диспутант соответствует чести нашей святой корпорации!»

Тогда медленно поднялся со своего стула Мазарди, ставший за эти годы совсем старым:

– Сын мой, ты проявил разумение и прилежание в изучении наук. С радостью я свидетельствую, что знаешь ты на выходе в жизнь искусство лекарское и мастерство хирурга,

и ведомо тебе сотворение лекарств, и имеешь ты себе добрыми советчиками великих наших учителей Гиппократ, Галена и Ибн-Сину по прозванию Авиценна. Пишешь ты грамотно и изъясняешь мысли свои без затруднений на языках учености – мудром языке иудеев и прекрасном греческом, и свободен ты в чеканной речи исчезнувших латинян, и посему ты среди врачей мира, куда бы ни забросила тебя судьба, будешь не одинок, ибо все мы – одно славное сообщество, у которых единая родина – милосердие, единая цель – сотворение добра, единый враг – бездушие.

Мазарди глубоко вздохнул, словно устал от слов своих или от лет своих, помолчал и продолжил тонким голосом очень старого человека:

– В этих стенах ты повторил за своими учителями тысячи текстов и с годами обязательно многие забудешь. Но сейчас ты в последний раз в этом доме познания повторишь за мной слова, которые должен помнить всю жизнь до того мига, пока Господь не призовет тебя к себе. Мы принимаем тебя во врачебную корпорацию, и ты принесешь нам присягу в верности заветам нашего ремесла...

Мазарди возложил мне на плечо сухонькую ладонь, и я вспомнил, как прыгали по его сутане цветные зайчики в незапамятно далекий день, когда я переступил порог университета.

– Говори же вослед, сын мой: клянусь устранять от больного всяческое зло и вред!

– Клянусь!

– Клянусь вести жизнь здоровую и чистую и не лечить больных от недугов, мне неведомых, а спрашивать совета сведущего лекаря.

– Клянусь!

– Клянусь воздерживаться от нанесения обиды пациенту своему и семье его, удрученной горем.

– Клянусь!

– Клянусь воздержать душу свою от соблазна сребролюбия, а плоть от разврата.

– Клянусь!

– Клянусь именем богов сохранить в себе как святую тайну все, что доведется мне увидеть и услышать у ложа больного, и все, что не подлежит разглашению как тайна личной жизни человека, прибегнувшего к моей милосердной помощи...

– Клянусь!

– Клянусь, что не дам женщине, несмотря на самые страстные мольбы, пессария, исторгающего плод из ее чрева...

– Клянусь!..

– Прими эти символы твоего положения. – Мазарди протягивает мне книгу, кольцо и широкополую шляпу. – Жалую тебя, Теофраст Гогенгейм, званием ученого доктора медицины.

Я благодарю Мазарди за лестное предложение занять ме-

сто на кафедре медицинской школы в университете. И отказываюсь.

Обиженно поджал губы, развел в стороны сухонькие ладошки Мазарди:

– Большого я не могу тебе предложить...

– Честь, оказанная мне, не по заслугам велика, – смиренно отвечаю я. – Именно поэтому сначала хочу объехать землю, многому научиться и только потом учить других...

– Разве в Ферраре тебя учили мало? – удивленно спрашивает монах. – Или плохо?..

– Мудрые учителя пробудили мой разум к свету знания. Но земля бескрайна, и во всех концах ее лечат недужных по-разному. Я хочу объединить это знание и воздвигнуть на нем новое, которое станет благом для всех.

Мазарди грустно качает головой:

– Не ведет тебя милосердие божеское, а снедает гордыня бесовская. Вся мудрость медицины собрана в трудах Галена и Авиценны. И если другие врачи своими словами перетолковывают их труды, выдавая за откровение, то сие бессмысленно и излишне. А если они учат другому, то сие для больных вредно, а потому – безбожно и преступно.

– Учитель, но ведь раньше поклонялись Гиппократу, а потомки сочли большей мудростью учение Эразистрата. Великий Гален сокрушил заблуждения грека, утверждавшего, что в наших жилах течет не кровь, а воздух. Прошли века, и мы воздали хвалу и почести Авиценне, который вслед Галену

указал нам на начало и источник болезней. Может быть...

Мазарди предостерегающе поднимает руку:

– Начало и источник болезней – грех! Первые люди, созданные для бессмертия, до своего грехопадения не знали болезней и смерти. И ты впадаешь в прельщение греховное – зовет тебя гордыня вознестись над именами, для каждого врача святыми.

Глядя в пол, я твержу упрямо и дерзко:

– Святым имя врача делает постижение истины о сохранении здоровья человеческого, а ведь на великих именах не могла закончиться мудрость познания.

– Слова твои, сын мой, неразумны, а мысли суетны и мелкие. Никакая человеческая мудрость не может дать или сохранить здоровье – его дает только Бог. И если мы теряем здоровье, то вернуть его может лишь помощь Божья, подаваемая нам телесно через врача и незримо – самим Господом, когда мы взываем к нему в глубине сердца и горячо просим в молитве.

– Мессир, я хочу все знать, чтобы Господу в благодати его было легче направлять мою послушную руку...

– Ты странный человек, Теофраст, – вздыхает Мазарди. – Ты избрал неподходящее для дворянина занятие лекаря. Став ученым медиком, ты не хочешь с кафедры нести другим свет знания, завести круг почтенных пациентов, нажить семью, дом и имущество в него, а намерен стать кочующим грыжесеком и бродячим костоправом, вечным учени-

ком несуществующего учения.

– Но я не могу учить других науке, которая не знает, как вылечить зубную боль, и предоставляет людям умирать независимо от их природной комплекции и силы.

Мазарди хмурится:

– Иди, сын мой, я не смею тебя удерживать. Видно, на роду тебе написано брести среди людей, как прокаженному с мешком на голове и колокольчиком. Образ твоих мыслей, поведение твое странное делают тебя непонятным и отчуждают от людей, как холщовый мешок с прорезями для глаз. Дерзость твоя, нежелание повиноваться силам вечным и несокрушимым, как звон колокольчика, заставят всех, прислушавшись на мгновение, разбежаться в страхе с твоего пути, и потому вечно будешь ты один. Иди...

Глава 5

«Обахээс пришел...»

Замигал глазок сигнальной лампочки на селекторе.

– погоди, сейчас договорим, – сказал Шарапов и снял трубку. – слушаю. Здравствуйте. Да, мне докладывали. Я в курсе. Да не пересказывайте мне все сначала – я же вам сказал, что знаю. А куда его – в желудочный санаторий? Конечно в КПЗ. Ответственный работник? Ну и что? Безответственных работников вообще не должно быть, а коли случаются, то надо их метлой гнать. Послушайте, несерьезный это разговор: нечаянно можно обе ноги в штанину засунуть, а кидаться бутылками в ресторане можно только нарочно. То же мне, купец Иголкин отыскался! Чего тут не понять – понимаю. Но я думаю, что дела надо решать в соответствии с законом, а не с вашим личным положением – удобно это вам или неудобно. Вот так-то. Мое почтение.

Генерал положил трубку на рычаг, задумчиво спросил:

– Слушай, Стас, а ты часто бываешь в ресторанах?

– Десять дней после полочки – часто.

– А я почти совсем не бываю. Давай как-нибудь вдвоем сходим. Я тебя приглашаю.

– Давайте сходим. Бутылками покидаемся?

– Да мы с тобой как-нибудь так обойдемся, без метания предметов. Эх, с делами бы нам только раскрутиться. Ну

ладно, продолжим. Значит, напугала тебя сугубая научность этого вопроса. И ты считаешь, что в этих тонкостях тебе не разобраться. Так я понял?

– Приблизительно. А Позднякова я считаю невиновным.

– Это хорошо, – кивнул генерал и еле заметно усмехнулся. – Только перепутал ты все.

– Что я перепутал?

– Задание свое. Кабы пришла к тебе жена Позднякова и попросила по дружбе вашей старинной, чтобы ты проверил, не позволяет ли себе ее муж изменять брачному обету, то ее, может, и устроил бы такой ответ: «Считаю невиновным». А меня не устраивает. Твоя вера – это хорошо, но мне доказательства нужны.

– Я столкнулся здесь с вопросами, в которых ничего не смыслю. Не понимаю я этого.

– Почему не понимаешь? – деловито спросил Шарапов.

– То есть как почему? Нужна специальная подготовка, образование...

– Есть. Все это у тебя есть.

Я вышел из терпения:

– Что есть? Образование? На юридическом факультете курс высокомолекулярных соединений не читают, органическую химию не проходят, а на всю судебную психиатрию отпущено шестьдесят часов.

– Не знаю, я заочный окончил, – спокойно ответил Шарапов. – А здесь у нас, в МУРе, учат праматери всех наук

– умению разбираться в людях. И у меня были случаи убедиться, что ты эту науку в некотором роде постигаешь.

Я сидел опустив голову. Генерал засмеялся:

– Ну что ты сидишь унылый, как... это... ну?.. Тебе там не в формулах надо было разбираться. – Он заглянул в лежащий перед ним рапорт. – Метапроптизол не сивуха, его в подполе из соковарки не нагонишь. И кирпичик этот мог положить только большой специалист. Очень меня интересует сей специалист, вот давай и поищем его.

– Есть, буду искать. Боюсь только, что замешано это все на каком-то недоразумении.

– Не бойся, нет тут никакого недоразумения. Сегодня совершено мошенничество – «самочинка». У гражданки Пачкалиной два афериста, назвавшиеся работниками милиции, произвели дома обыск, изъяв все ценности и деньги.

– А какое это имеет...

– Имеет. Они предъявили наше удостоверение, и потерпевшая запомнила, что там было написано: «Капитан милиции Поздняков».

Из объяснительной записки и протокола допроса потерпевшей в отделении милиции я уже знал, что гражданке Пачкалиной Екатерине Федоровне тридцать два года, работает газовщиком-оператором в районной котельной, проживает на жилплощади матери-пенсионерки, образование семь классов, ранее не судима. И теперь смотрел на ее причес-

ку, похожую на плетеный батон хала, морковное пятно губной помады, слушал ее тягучий, вялый говор безо всяких интонаций и мучительно старался вспомнить, где я видел ее раньше. Моя профессиональная память, отточенная необходимостью ничего не забывать навсегда, порою становилась палачом, мучителем моим, ибо встреченное спустя годы полузабытое лицо или выветрившееся имя начинали истязать мозг неотступно, безжалостно и методично, как зубная боль, и избавиться от наваждения можно было, только вырвав из тьмы забвения далекий миг – когда, где и при каких обстоятельствах возникло это лицо или прозвучало имя. И тогда это воспоминание – пустяковое, незначительное, чаще всего не имеющее отношения к делу – приносило успокоение. А сейчас я смотрел на Пачкалину, слушал, и ощущение, что когда-то видел ее, превратилось в уверенность. Вот только где и когда – не мог я вспомнить.

– Женщина я одинокая. Одинокая, значит. Приходят ко мне иногда мужчины – молодые, конечно. Молодые, конечно. А мать у меня, как говорится, старуха суровая. Суровая, как говорится. И отношения у нас с ею неважные. Неважные, значит...

Вот так она неспешно долдонила, повторяя каждую фразу, будто сама себя уговаривала, что все сказала верно, правильно, ни в чем не ошиблась, значит.

– Давайте еще раз вспомним, что забрали преступники, – сказал я.

– А чего вспоминать? – удивилась Пачкалина. – Вспоминать, значит, зачем? Я разве забыла? Разве такое забудешь? Я все помню. Значит, пришли они и говорят, что из милиции, из обахэеса, как говорится, обыск, говорят, будем делать, нетрудовые ценности изымать...

– Да-да, это я знаю, – перебил я. Меня сместило, что Пачкалина персонифицировала ОБХСС в какое-то одушевленное существо и все время говорила: «Обахэес пришел», «Обахэес стал обыск делать», «Обахэес сказал...».

– Ну вот эти самые и наизымали, конечно. Шубу каракулевую, как говорится, новую совсем, ненадеванную, считай. Считай, новую...

Пачкалина передохнула, из горла у нее вырвался низкий клопочущий звук, и вдруг все ее лицо словно расплзлось на кусочки: опустился нос, поехал в сторону крупный, ярко намазанный рот, широко раскрылись веки – чтобы слезы не смыли с ресниц тушь. Со стороны казалось, будто незаметно ей вывернули где-то на затылке стопорный винт, и все части лица рассыпались, как на сборной игрушке. Плакала она басом, зло и обиженно.

Я налил ей стакан воды, Пачкалина выпила его разом. Прислушиваясь к ее булькающему плачу – о-о-лё-лё-о-о, – я вдруг вспомнил, откуда знаю потерпевшую. И удивился, что так долго не мог вспомнить ее, – она ведь и внешне мало изменилась, разве чуть растолстела.

– Успокойтесь, успокойтесь, Екатерина Федоровна, – ска-

зал я, – слезами делу не поможешь, надо подумать, как их разыскать скорее.

Пачкалина успокоилась так же внезапно, как и зарыдала.

– Как же, разыщешь их, – сказала она мрачно. – Ищи-свищи теперь. Теперь ищи их, свищи, как говорится, ветра в поле. Значит, кроме шубы, взяли они два кольца моих, один с бриллиантом, а другой с зелененьким камушком. Да, с камушком, значит, зелененьким. Сережки, конечно, тоже забрали...

– Зеленый камешек – самоцвет, что ли?

– Как же, самоцвет! Изумруд.

– У-гу, понятно, изумруд. А бриллиантик какой?

– Какой – обыкновенный. Что я, ювелир, что ли?

– Подумайте еще раз над моим вопросом. Мы должны подробно описать для розыска кольцо – это в ваших же интересах.

– Ну обыкновенный бриллиант, значит. Конечно, два карата в ём есть.

Я улыбнулся:

– Два карата – это не обычный бриллиант. Это крупный бриллиант. Ну да бог с ним. Деньги взяли?

– Так ведь говорила я уже – книжек предъявительских на четыре с половиной тысячи. Предъявительских книжек, как говорится, три штуки забрали.

Я взял ручку и придвинул к себе лист бумаги:

– В каких сберкассах были помещены вклады?

– Да не помню я. Не помню я, значит, в какую кассу клала.
Я с удивлением воззрился на нее:

– То есть как не помните? Не помните сберкассу, в которой храните четыре с половиной тысячи?

– Вот и не помню! Да и чего мне помнить было, когда там, на книжке, значит, написано было – и номер, и адрес! Кто же знал, что из обахэеса эти, ну, то есть, я говорю, аферисты самые, заявятся...

И она снова зарыдала – искренне, горестно, ненавидяще. Вот так же она рыдала десять лет тому назад, когда молоденький лейтенант Тихонов опечатывал ее пивной ларек на станции Лианозово, в котором оказалось левых сорок килограммов красной икры. По стоимости кетовой икры хищение тянуло на часть вторую статьи девяносто второй Уголовного кодекса – до семи лет. Тогда Пачкалина, которая в те времена еще была не Пачкалина, а Краснухина, а среди завсегдаев ее забегаловки больше была известна под прозвищем Катька Катафалк, стала объяснять мне со всеми своими бесконечными «как говорится», «конечно», «значит», что икры здесь не сорок килограммов, а только двадцать – остальное пиво, и я никак не мог сообразить, при чем здесь пиво, пока после ста повторов не уяснил, что, как говорится-конечно-значит, пиво, налитое в кетовую икру, начинает подбуживать, впитывается, каждая икринка набухает и становится еще аппетитнее. И тут надо только постараться мгновенно распродать товар, чтобы он весь не прокис, лучше всего на бутербродах:

порция слишком мала, чтобы испортить желудок, да и самый бережливый не станет держать впрок. Таким образом, жулик в мгновение ока превращает литр пива ценой сорок четыре копейки в килограмм икры за семь рублей с полтиной плюс буфетная наценка. Плюс, в случае чего, и статья другая, полнее, чем за ворованную икру. Вместе с мрачным мужчиной из торгинспекции и общественным контролером я снял остатки, изъял кассу и опечатал ларек – вот тогда Краснухина зло и испуганно зарыдала басом. Я привез ее в райотдел милиции и больше не видел: мне подкинули какое-то другое дело.

А теперь она была потерпевшей. Одинокая женщина, оператор в котельной, а попросту говоря – кочегар, у которой изъяли мошенники два драгоценных кольца, серьги, каракулевое манто и на четыре с половиной тысячи сберкнижек...

Я долго барабанил пальцами по столу, потом спросил:

– Объясните мне, Екатерина Федоровна, такую несуразность: как же это получается, что к вам, одинокой, бедной женщине, честной труженице, приходят якобы из милиции, производят обыск и изымают более чем на десять тысяч ценностей, и вы – рабочий человек, которому нечего терять и некого бояться, – не говоря худого слова, все это отдаете им?

– А что? – спросила она.

– Да ничего, только непонятно это мне. Вот у меня, к сожалению, нет десяти тысяч, но если бы кто угодно попробовал у меня взять хоть десять рублей, я бы сильно возразил.

– Да-а! Вам хорошо, вы начальники, конечно, а коли к женщине одинокой пришел обахэес – что же мне, значит, драться с ним?

– Драться ни с кем не следует, но у меня впечатление, что если бы кто-то попробовал изъять вашу зарплату в котельной, вы бы ему глаза вырвали.

Огорченно-тупое выражение медленно стекало с ее лица.

– Это как же вас понимать, как говорится? Значит, повашему, выходит, что вовсе жулики эти правы, а не я? Не я, значит?

– Ни в коем случае. Вы меня неправильно поняли. Или не захотели понять. Я к тому веду, что кто-то знал о ваших ценностях. И знать мог только человек, который и мысли не допускает, что вы живете на свою зарплату кочегара.

Лицо Пачкалиной побагровело, она наклонила голову, будто собралась бодаться.

– Вы моих денег не считайте! Я по закону живу, ничего не нарушаю. Не нарушаю, значит!

Я покачал головой:

– Вот бы вы таким макарон с жуликами разговаривали. А со мной чего вам препираться, я ведь сейчас не расследую, с каких вы доходов живете. Кстати, почему вы пишете, что не судимы?

– Амнистия потому что была! С тех пор я полноправная! Несудимая, значит.

– А-а! Я не подумал. А меня вы вспомнили, Екатерина

Федоровна?

– А то нет! Как говорится, конечно-значит, вспомнила. Сразу. Хоть тогда вы и молоденький были, по пустым делам бегали. Сейчас небось, как говорится, кабинет отдельный...

– Имеет место. Теперь давайте снова вспоминать, как выглядели аферисты.

– Люди они молодые. Молодые, значит. Высокие оба, конечно. Один – чернявенький, вроде бы он армян, или грузинец, или еще, может, еврейской национальности, значит. А второй, наоборот, весь из себя беленький, и на щеке – шрам, как говорится...

Постепенно успокоившись, Пачкалина сидела и не спеша описывала жуликов. Почти не слушая ее, я все время пытался понять, почему Пачкалина не знает, в какие сберкассы были внесены вклады. Забыть она не могла, это она явную чушь несет. Может быть, она у себя держала чужие деньги? Чьи? Этим надо будет заняться всерьез, потому что отсюда может быть выход на аферистов. Но ведь это не просто аферисты – они предъявили удостоверение капитана Позднякова. В общем, если отбросить всю лишнюю шелуху, надо искать человека, у которого в руках находится могущественное, неизвестное науке лекарство, который хорошо знает, что Поздняков всегда ходит с оружием, а у Екатерины Пачкалиной хранятся дома немалые ценности. Задача несложная, элегантная и многообещающая.

Но пока что надо было ехать в МУР, предъявлять Пач-

калиной альбомы с фотографиями известных милиции мошенников – это первое действие в решении возникшей передо мною задачи.

Мы поднялись в канцелярию, где ждал инспектор шестого отдела Коля Спиркин, великий спец по всякого рода мошенничествам. Коля провел нас в свой кабинет, который на свежего человека должен производить впечатление ошеломляющее: какие-то огромные свертки с коврами валялись на полу, на стульях сложены груды цветастых платков, около окна возвышалась целая пирамида потертых разномастных чемоданов, большой письменный стол усеян обрезками бумаги, игральными картами, фотографиями, ключьями ярко-оранжевой, с переливами, парчи – вещественными доказательствами разносторонней деятельности Колиных поднадзорных. Вдоль стен шли стеллажи с рукописными плакатиками: «Разгон», «Бриллианты», «Куклы денежные», «Куклы вещевые», «Фармазоны», «Аферисты», «Картежники», «Женихи». На стеллажах размещались альбомы с фотографиями деятелей, облюбовавших одну из этих специальностей, и потерпевшим их предъявляли с целью опознания.

– Альбомы – вчерашний день криминалистики, – сказал Коля непринужденно. – Как раз сейчас мы переводимся на централизованный машинный учет: зарядил карточку с приметами и специализацией преступника и через две минуты получаешь ограниченное количество фотоснимков. – Он вздохнул и, подвинув стремянку к стеллажам, полез к пол-

ке с надписью «Разгон». – Но пока что альбомы посмотреть придется... Сначала профессиональных разгонщиков, если не найдем – тогда остальных...

– А остальных-то зачем? – спросил я.

– Да они нестабильные какие-то, – с огорчением сказал Коля. – Вчера он «куклы подкидывал», завтра будет фармазонить. А сегодня, глядишь, самочинный обыск зарядил.

Коля выложил на стол несколько больших, в разноцветных коленкорových переплетах альбомов:

– Не спешите, разглядывайте внимательно.

Пачкалина недоверчиво посмотрела на вихрастого Колю, который в свои тридцать лет выглядел первокурсником-студентом, и открыла альбом. Я сидел рядом с нею и тоже с интересом разглядывал снимки – мне ведь по моей специальности делать это не часто приходится, хотя я знаю кое-кого из жуликов, представленных в Колиной коллекции.

Пачкалина загляделась на Олега Могилевского по кличке Портвейн. Лицо красивое, мягкое, густые темные кудри до плеч, пухлые губы, огромные чистые глаза в пушистых девичьих ресницах, кокетливый наклон головы. Не хватает только надписи в завитушках: «Люблю свою любку, как голубь голубку».

Нежный красавец этот не так давно приглядел одного деятеля – заведующего плодоовощной базой. И решил «взять» его профессионально. С дружками своими устроил за ним плотную слежку, фотографировал машины с овощами, ко-

торые, по его расчетам, уходили «налево», словом, досье на него оформил, как в ОБХСС. В один прекрасный день является к заведующему домой, с ним двое в форме, понятых берут: обыск. Заведующий трясется, да куда денешься? Пока те двое ищут, Портвейн уселся хозяина допрашивать – документы, фотографии ему предъявляет: вы, мол, установленный жулик и доказанный расхититель соцсобственности. Заведующий покряхтел и – сознался, показания собственноручно записал и поставил подпись. Забрали у него разгонщики тысяч двадцать, вещей ценных два чемодана и удалились, отобрав подписку о невыезде с места жительства.

Все сошло гладко, но через некоторое время сосед-понятой стал по разным инстанциям жаловаться: дескать, жулика вроде разоблачили в моем присутствии, а он живет себе на воле и в ус не дует.

Уже в конце первого альбома Пачкалина остановилась на персонаже с удивленным лицом и ангельски невинными глазами, вопросительно посмотрела на Колю.

– Нет, нет, – уверенно сказал Коля. – Этот сидит. Рудик Вышеградский, он же Шульц, кличка Марчелло. Отбывает с тринадцатого марта по приговору народного суда Свердловского района.

Пачкалина понимающе кивнула и взяла другой альбом. Мало-помалу она увлеклась, и теперь, когда хоть на время забыла о своей беде, вид у нее был такой, будто пришла она в гости в солидный семейный дом и, пока хозяйка готовит уго-

щение, коротает время, рассматривая фотографии подружки, ее друзей и любимых родственников.

Коля Спиркин, наверное, знал, что с его посетителями время от времени происходит такое, поэтому он сказал Пачкалиной вежливо:

– Вы, пожалуйста, от своего дела мыслями не отвлекайтесь, держите перед собой образ преступника. А то и запутаться недолго, если просто так разглядывать... – И ухмыльнулся: – Они ведь у нас красавчики...

Они и впрямь были красавчики – Бичико, Монгол, Шпак, Котеночек, Портной, Берём-Едем и многие другие, все как на подбор – симпатичные и приветливые лица, честные, доверчивые глаза. Это, конечно, неудивительно: ведь приятная внешность – их профессиональный «инструмент», своего рода отмычка, способ отбирать деньги без помощи грубой силы.

Разглядывая их, я подумал, что они здорово опровергают Чезаре Ломброзо с его теорией биологической предопределенности преступников. По его мнению выходило, что у преступников по сравнению с нормальным человеком обязательно искажены черты лица – разные там лицевые углы и так далее, и поэтому у них звероподобные, чисто «уголовные» физиономии, так называемый «тип Ломброзо». И я вспомнил, что, приняв у себя в Ясной Поляне Ломброзо, Лев Толстой записал в дневнике: «Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок».

Часа два мы рассматривали с Пачкалиной фотоснимки, приглядывались к похожим, сопоставляли их с данными картотеки, но ничего не нашли. Закрывая последний альбом, Пачкалина длинно вздохнула и сказала:

– Нет их здесь, значит... – И в голосе ее мне послышался укор.

Сегодня мне предстояло покончить еще с одним нудным делом. По плану значилось: «Выяснить истинную позицию Фимотина», и, хотя тащиться к нему чертовски не хотелось, отступить от принятых обязательств не в моих правилах.

Странное впечатление осталось у меня от первого разговора с Фимотиным. Как он в цвет, точнехонько, попал с красной книжечкой и пистолетом! Конечно, если допустить, что он встречал Позднякова «под градусом», тогда подобное предположение лежит на поверхности: действительно, что еще можно украсть у милиционера? Ну а если он, мягко говоря, преувеличивает? Если домислил насчет пьянства участкового? Какую роль играет он в таком случае? Прориздатель, этакая пифия в олимпийском костюме? Или ординарный сутяга, профессиональный загрязнитель чужих репутаций? Или... Или... есть еще вариант – что он о краже удостоверения и оружия *знает*? Знает о том, что никому, кроме милиции и отравителя, не известно?

– В прошлый раз вы говорили, Виссарион Эмильевич, о

неблагополучии в семье Позднякова. Я бы хотел остановиться на этом подробнее.

Нынче был Фимотин что-то не в настроении, принимал меня далеко не так радушно, как в прошлый раз, настойкой заморского гриба не угощал и вообще был явно удивлен моим повторным визитом.

– Позволю себе не поскромничать, я, так сказать, свой гражданский долг выполнил, – говорил он, теребя рыжеватые свои усы. – О своих объективных наблюдениях вам подробно доложил... – И весь его вид свидетельствовал о недовольстве и некотором даже возмущении: человека спросили, он все честно, как надо, объективно доложил, а теперь его снова беспокоят, как свидетеля какого-нибудь, допрашивают до ногтя, дорогое пенсионерское время транжирят. – Ваша теперь забота – выводы делать.

– Так в том-то и дело, Виссарион Эмильевич, что у нас для выводов фактов не хватает. А за выводами дело не станет.

– Какие же еще вам факты нужны? – удивился Фимотин.

– Ну, вот хотя бы насчет неблагополучия в семье. Помнится, вы так буквально выразились: «Неподходящая, по моим сведениям, у него дома обстановочка».

– Я и сейчас подтверждаю...

– Вот-вот... Я насчет сведений этих: нельзя ли поподробнее?

Фимотин задумался, потом сказал медленно, растягивая слова:

– Вы уж прямо на словах ловите, товарищ инспектор. Я ведь не то что там имел в виду официальную какую-то информацию...

– Да боже упаси. Просто меня факты интересуют.

– Понимаете, факт факту рознь. Для наблюдательного человека маленький штришок какой-нибудь, деталька – уже факт, почва, так сказать, для умозаключений...

Я с интересом посмотрел на него:

– Что-то я никак вас не пойму, Виссарион Эмильевич.

– Да тут и понимать нечего, – сердито сказал Фимотин. – Белые пуговицы к сорочке черной ниткой пришиты – это ведь пустячок. Офицер милиции в полной форме несет к себе домой пельмени либо микояновские котлеты готовые – пустяк? А большей частью в столовой обедает – ерунда? Ага. Но кто не слеп, тот видит: дома или там семьи у человека нет. Нет! – с торжеством закончил он.

– Но я тоже домой пельмени покупаю, – с недоумением сказал я. – Это же еще ничего не значит.

– Вы себя с Поздняковым не равняйте, – возразил Фимотин. – Вы человек молодой, и супруга ваша, надо полагать, еще готовить не обучилась, все, как говорится, впереди...

– У меня и правда все впереди, – заметил я, – поскольку я еще и супругой не обзавелся.

– Тем более! – Фимотин воздел палец. – А Поздняков обзавелся. Да еще какой! Анна Васильевна человек настоящий, ученый, можно сказать, и связалась с этим... Э-эх! Я вам вот

что скажу: когда у генерала жена ничтожная, она все одно генеральша. А когда у профессорши, вот, скажем, как у Желонкиной, муж милиционер, то и она, выходит, милиционерша!

– И что ж в этом такого?

– Стыдится она его и жить с ним не хочет, а надо...

– Да откуда вы все это знаете? – спросил я сердито.

– Знаю, и все... – Фимотин походил по комнате, досадливо кряхтя и вздыхая, остановился передо мной, взял меня за пуговицу. – Сын мой с ихней дочкой знаком.

Вон что! Ну, это другое дело. С Дашей Поздняковой я уже разговаривал: симпатичная девчурка, горячо любит отца, защищала его как могла. Прилежная студентка, мать свою очень уважает, удручена семейной ситуацией, хотя разобратся в ней по молодости еще не может...

Достав из портфеля бланк протокола, я протянул его Фимотину:

– Напишите, пожалуйста, все, о чем мы с вами говорили.

Фимотин отказался наотрез:

– С какой стати я еще чего-то писать обязан? Разве моего слова недостаточно? – И съехидничал: – Или вам на слово не верят?

– У нас делопроизводство по закону – в письменной форме, – улыбнулся я. – Да что вам стоит написать? Вы же не отказываетесь от того, что видели Позднякова нетрезвым?

– Что значит – не отказываюсь... – пробормотал Фимо-

тин. – Я ведь сказал, что думал... А вдруг он не пьяный был, вдруг мне показалось? Я вот так, за здорово живешь, напраслину на человека писать не буду.

– А сказать инспектору вот так, за здорово живешь, можно?

– Я только о своих наблюдениях вам сообщил... Ну, неофициально, что ли.

– Ну конечно... Может, это и не наблюдения вовсе ваши, а предположения были? А? Так же, как и «прозорливость» ваша? Ведь вы же не то чтобы догадались, или предвидели, или почувствовали, что Поздняков в пьяном виде на газоне заснет и у него удостоверение и оружие вытащат. Вы это знали – вам сын рассказал!

Фимотин круто повернулся ко мне, сказал резко:

– Ну и сын! Ну и знал! И что с того? Неправда, что ли? Напился и валялся, как свинья. Я и знал, что так будет!

– Откуда же вы знали?

– А оттуда, что Поздняков ваш – хамло, жлоб! Милиционер – он милиционер и есть, все они пьяницы! Анна Васильевна, – голос Фимотина неожиданно переломился, стал умильным, почтительным и сочувственным, – вот человек, профессор, а этот хам жизнь ей заел... Дурочка она, давно надо было в руководящие инстанции писать, гнать его в три шеи с квартиры!

Сдерживая душившую меня злость, я сказал вежливо и тихо:

– Вы себя интеллигентом считаете. И Желонкина вам импонирует, тем более что почти профессор она, и квартира у нее трехкомнатная – есть где сыну с молодой женой поселиться, ваш покой на старости не ломать. Одна только преграда – Поздняков там проживает. А тут случай сам в руки катит. Отчего же не накапать, втихую этак, ядовитенько и безответственно. А? Позднякова из милиции выгонят, глядишь, и Желонкина от него избавится, вам ведь такой свояк – в чёботах – не нужен? Только не получится по-вашему, не надейтесь... – Я перевел дух и закончил: – С Дашей я разговаривал, хорошая она девушка. Вашего парня, Виссарион Эмильевич, я не знаю. Но на одно надеюсь: что он совсем на вас не похож.

* * *

...На базарной площади, примыкающей к южной стене дворца герцога Альфонсо д'Эсте, я купил за тринадцать флоринов серого сухоногого осла с задумчивыми влажными глазами, выдающими нрав обжоры и лентяя, и получил в придачу ковровый седельный мешок, сильно истертый, но еще вполне пригодный. Прекрасную широкополую шляпу черного шелка, на алой подбивке, докторскую мантию и книги свои побросал я в мешок, а за девять флоринов приобрел свиные сапоги без рантов, неношеную хлопковую голубую рубаху, медные шпоры с дребезжащими звездчатыми коле-

сиками и тяжелую резную трость, которая была хороша тем, что, потянув за ручку, можно было вытащить на свет божий два локтя булатного клинка.

В трагторию «Веселый каплун» я вваливаюсь с другими и кричу с порога пузатому трактирщику:

– Луиджи, носи на стол все лучшее, доктор Гогенгейм покидает тебя навсегда!

– За мой счет? – бурчит Луиджи, и не понять, рад он разлуке со мной или опечален ею.

– Сегодня плачú я! Ученые отцы не решились выпустить меня из города без гроша, краснея за мою нищету и за свою скупость!

И выстраиваются на дощатом, добела выструганном столе ровные ряды бутылок с вином фалернским и тосканским, мальвазией, запотевшие глиняные кувшины с душистым изюмным вином и смирненской настойкой. Принесли серебряные с чернью чаши и стаканы цветного дымчатого стекла венецианского, и велит хозяин слугам подать для прощального бала, что правит напоследок отправляющийся по белу свету молодой доктор Гогенгейм, дорогую посуду, из английского олова отлитую, и на тарелках этих, нарядно белых, сияющих, возлежат румяные цыплята, стыдливо светит прозрачными от жирка боками молочный поросенок и сочится кровью чуть прихваченная пламенем телятина.

И огонь во рту от баранины по-лангедокски гасим мы бокалами белого, розового и алого вина, и веселье наше взды-

мается над пиршественным столом, как дым над полем битвы. Присоединяются к празднеству голодные студенты, и случайно забежавшие знакомые, и не случайно обретающиеся в трагтории незнакомые побирušки. А я кричу гулящим девицам, собравшимся журчащей стайкой в уголке:

– Эй, вы, чертовы монахини, невесты Люцифера, идите за наш стол! Только благодаря вам я не удавился здесь за шесть лет занудства! Любимые мои цветочки, сладкие плоды садов греховных, идите, чтобы я мог вас обнять всех сразу!

– Рук не хватит всех обнять сразу! – смеются девицы. – Лучше, мессир доктор, по очереди...

– Хватит! – кричу я, счастливый и хмельной. – Хватит рук, чтобы обнять вас всех, и хватит ног, чтобы обойти мир, и хватит сердца, чтобы раздать всем страждущим, и утробы моей хватит, чтобы пировать во всех застолицах добрых людей...

– А хватит ли денег, чтобы пировать во всех застолицах? – шипит прибившийся к столу человек с зеленоватым трусливым лицом фискала.

С хохотом отвечаю ему:

– Об этом пусть заботятся те, у кого коротки руки и слабые ноги! Те, кто тратит сердце только над расстегнутым кошельком...

А пьяненький трактирщик Луиджи, поглаживая меня по плечу, говорит:

– Дня на три в дорогу я тебе еды дам. А потом как бу-

дешь?..

– Сказано в Евангелии от Матфея: «Взгляните на птиц небесных – они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». И меня пропитает милостью своей...

– Первый раз слышу, чтобы ученый доктор подавался в бродяги и на милостыню нищенскую уповал, – говорит с досадой и злостью фискал.

– Дурак ты, братец, – отвечаю ему. – Я не на милостыню нищенскую уповаю, а на благодарность людскую за ум свой быстрый, руку твердую, глаз верный – главных помощников милосердного сердца лекарского!

– Это еще неизвестно, каким ты будешь лекарем, – уныло и упрямо бубнит фискал, и на лице его – гнев и зависть оттого, что никто никогда не провожал его так добро и весело в дорогу, и не поднималось за всю его жизнь столько задравных чарок, и не висли у него на шее девицы, лаская не за деньги, а искренне и горячо, и никогда за всю жизнь не удалось ему узнать столь много, сколь знает этот молокосос, а главное – что никогда не возникало желания уйти от порога своего постылого дома дальше чем на двадцать лиг. И поэтому он с нарастающей злостью повторяет: – Неизвестно, каким ты будешь лекарем! Может быть, станут тебе благодарностью плевки, хула и поношения...

Не дал я ему закончить, бросил в него обглоданным ку-ренком:

– Замолчи, злопыхающий глупец! Запомни этот вечер – пройдут годы, и повторите вы за мной слова Писания: Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда...

– Ты святотатствуешь!.. – вопит жалкий и злой человек, но Луиджи уже несет его на своем необъятном животе к дверям.

Музыканты пришли, согрелись вином, дружно загремели их мандолины, рожки, флейты, виола да гамба и немецкий роммельпот. Зажгли масляные лампы, и их дымный свет пятнами прыгает по красным, потным лицам, все кричат, поют и хохочут одновременно, всем очень весело. Я ношусь по траттории в обнимку с девицами, и пляшу лучше всех, и пою громче всех, и зову налить еще бокалы:

– Веселитесь, пойте и пейте, пока мы топчем эту прекрасную, солнечную, зеленую землю, потому что потом ввергнут грешников в печь огненную, там будет плач и скрежет зубовой. А мы с вами все, слава богу, грешники...

Восходит солнце; половина гуляк вповалку спит на лавках и по углам, остальные сонными мухами ползают между столами и стойкой, остужая кислым вином неутолимый похмельный жар. Я вышел во двор, умылся прозрачной ключевой водой; я свеж и бодр, будто выспался безмятежно в пуховой постели. Отвязал осла, сложил в седельную суму снедь на дорогу и пошел к городской заставе, на север, туда, где за альпийскими перевалами живут в довольстве, сытости и покое немцы, многоученные и недвижимые, как крепостные

камни...

Глава 6

У вас есть на примете Либих?

На Бережковской набережной, в той части, что ближе к окружному железнодорожному мосту, хорошо думать. В любое время пусто на тротуаре около чугунной решетки. Здесь мало жилых домов – одни учреждения, служащим некогда прогуливаться над рекой, утром они торопятся на работу, вечером спешат домой.

А сейчас я стоял совсем один, опершись на решетку, и смотрел на серую воду, измятую свежим сентябрьским ветром и белоснежным прогулочным корабликом, спешившим от Киевского вокзала к Лужникам. Вдали, над мостом, повис в мутной синеве трезубец университета, контур его был размыт расстоянием и косым осенним солнцем, и отсюда выглядел он сооружением сказочным, настоящим, как замок Пьерфон. А на другой стороне реки золотились тугие маковки куполов Новодевичьего монастыря, и красные кирпичные стены его словно подгрунтовывали тяжелую, усталую зелень старых садов.

Думать здесь было хорошо, но оказался я на набережной не потому, что больше мне подумать негде было, а потому, что десять минут назад вышел из Центральной патентной библиотеки, расположенной как раз за моей спиной, и застрял на этой пустынной набережной, где было тихо, ветер

носил вялые речные запахи и блеклый свет почти не оставлял теней.

В кармане у меня лежал листок с номерами и названиями одиннадцати авторских свидетельств, которые мне подобрали за три часа – сам я их не собрал бы за три года. Как любит говорить Шарапов, «все в мире давным-давно известно, надо только знать, где и у кого спросить». Но, проснувшись сегодня утром, я неожиданно – толчком, будто кто-то отчетливо и внятно произнес эти слова вслух, – понял самое главное: мне надо знать не где и не у кого, а о чем спрашивать...

Спрашивать надо было о работах Панафидина. За последний год. За десятилетие. За всю его научную жизнь.

Синтезом и применением транквилизаторов он занимается шестнадцать лет. На его имя зарегистрировано двадцать четыре авторских свидетельства. Все они получены им в соавторстве с другими учеными, и это естественно: век алхимиков давно миновал. Но, не будучи специалистом-химиком, я должен был своим разумением сформулировать для себя принцип отбора людей, которые могли участвовать в создании метапропизола. Среди ученых, искавших для людей добро, мне надо было вычислить кандидата в подозреваемые. При этом я не настаивал на том, чтобы он обязательно был обаятельным и симпатичным. С противным я бы тоже охотно потолковал.

Я впервые в жизни держал в руках свидетельство на изобретение, документ, который в просторечии мы обычно назы-

ваем патентом, – тетрадку, прошнурованную шелковой лентой и скрепленную огромной алой гербовой печатью. Титульный лист, зеленовато-синий, на водяной бумаге, был похож на старые, военных времен облигации – под виньеткой из лавровых листьев вздымались домны, гидростанции, комбайны, вышки.

Авторское свидетельство № 297657

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выдал настоящее свидетельство на изобретение «Способ получения и применения в психотерапии полиамидинов» по заявке № 138293 с приоритетом от 24 ноября 1963 года.

Авторы изобретения: Панафидин Александр Николаевич и другие, указанные в прилагаемом описании.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Союза ССР.

18 декабря 1964 г.

Действие авторского свидетельства распространяется на всю территорию Союза ССР.

Председатель комитета

За титульным листом шло подробное описание, которое возглавляла графа «Авторы».

Те самые «другие», кроме Панафидина.

И среди них была А. В. Желонкина!

Соавторами Панафидина по двадцати четырем свидетельствам было зарегистрировано сорок два специалиста. По разным работам число их колебалось от одного до семи человек. В первых трех работах его фамилия завершает список авторов. В последних семи он возглавляет группу исследователей. В остальных свидетельствах его имя постепенно смещается от конца к началу. Получалась занятная диаграмма восхождения человека по научной лестнице.

Но научная карьера Панафидина сейчас интересовала меня лишь с точки зрения поиска его более удачливого соперника в создании метапроптизола. Ведь Панафидин сосредоточенно и целенаправленно работал над этой проблемой и, судя по всему, продвинулся в ее решении дальше остальных. И вдруг мы находим в пивной пробке вещество, которое безуспешно пытается создать целая лаборатория! Но если в пробке был действительно метапроптизол, если это не «артефакт», то почему же автор не заявил о его открытии? И почему им травят Позднякова?

Стоп! Стоп! Я снова начинаю уклоняться. Будем исходить из того, что метапроптизол существует, хотя на него и не подано авторской заявки. Получить его случайно, не имея перед собой ясно осознанной цели, практически невозможно. Значит, его синтезировал человек, который был причастен к работе над транквилизаторами. Панафидин занимается этой проблемой с момента ее возникновения. Все или

почти все ученые, всерьез интересовавшиеся данным вопросом, контактировали с Панафидиным, все они знают друг друга, обмениваются информацией, готовят совместные труды. Гений-одиночка, вчера задумавшийся над созданием метапроптизола, сегодня получить его не мог. Значит, скорее всего, создатель этого гиганта-транквилизатора должен быть хоть раз поименован в списке соавторов Панафидина. Скорее всего...

Но кто он – один из сорока двух?

Справка об авторах слабо проясняла этот вопрос. Некоторые работали или сейчас работают вместе с Панафидиным, другие – из смежных лабораторий и институтов. В списке соавторов Панафидина были люди, подписавшие с ним одну-две работы и исчезнувшие навсегда, участие других было более стабильным. Некоторые соавторы занимали, совершенно очевидно, более высокое место в научном мире, другие – пониже, но и здесь не было четкой картины, потому что по мере восхождения Панафидина верхняя ступенька постепенно освобождалась для него персонально.

Самого Панафидина я не подозревал. Не потому, что он мне так симпатичен. Но он сам отдал бы все на свете за одну молекулу метапроптизола, да только ее у него не было.

Долго я раздумывал над фамилиями. И в конце концов отобрал три:

доктор химических наук профессор Илья Петрович
Благолепов;

младший научный сотрудник Владимир
Константинович Лыжин;
кандидат химических наук Анна Васильевна
Желонкина.

В первых авторских свидетельствах жена Позднякова фигурирует еще не как кандидат наук, она еще не доцент, это очень давние свидетельства – от августа 1962-го и от января 1963 года, и она заявлена как младший научный сотрудник без степени, просто – «инженер А. В. Желонкина». И по времени эти заявки отделены от гипертранквилизатора почти десятью годами – очень длинным сроком, в течение которого она писала свою диссертацию, становилась настоящим ученым, а ее муж по-прежнему ловил самогонщиков, и хулиганам укорот давал, и бежавших с отсидки за шиворот брал, и пьяниц гонял, пока не глотнул однажды удивительного снадобья, способного выволить тысячи людей из мрака безумия и невыносимого бремени страха, а его самого швырнувшего на самое дно позора, обрекшего на беспросветную муку – необходимость доказывать всем правдивость невероятной истории, приключившейся с ним.

Давно подавали заявки жена Позднякова и Панафидин, но это не имело значения, и в список свой я ее все-таки включил, потому что считать случайным совпадением работу Желонкиной над транквилизаторами, распад ее семьи и отравление Позднякова было бы с моей стороны неправильно. Ей-богу, у меня не было тогда никаких серьезных подозрений

против нее, но присмотреться к ней внимательнее мне казалось необходимым.

Вторым претендентом в моем турнире с сомнительными призами оказался м. н. с. – младший научный сотрудник – Лыжин. Этот выбор был продиктован тремя обстоятельствами. Во-первых, он больше, чем все остальные, работал вместе с Панафидиным – им было выдано двенадцать совместных авторских свидетельств. Во-вторых, он был соавтором тех же работ, в которых принимала участие Желонкина. В-третьих, последнее их общее свидетельство было зарегистрировано около пяти лет назад, после чего в выходе научной продукции Панафидина возникает многозначительная пауза длиной в три года. Потом у Панафидина сразу огромный рывок, а Лыжин исчезает совсем.

Последнюю вакансию я заместил профессором Благолеповым – его имя значилось первым во всех ранних работах Панафидина, из чего я сделал вывод, что профессор, скорее всего, был его научным руководителем. Совместных свидетельств семь.

Вот о чем я неспешно раздумывал, стоя у парапета над пустынной осенней рекой. Чайки резко пикировали на серую маслянистую воду, пронзительно кричали острыми кошачьими голосами. Грудастый, астматически задышливый буксир тянул против течения большую баржу, на которой был выстроен целый домик – со скамейкой под окнами, печной трубой, на веревке сохло женское белье.

В общем, принцип отбора фигурантов, придуманный мною, был не бог весть какой замечательный – арифметики в нем было гораздо больше, чем логики и причинно-следственного анализа. Но поразмыслить тут было над чем. Ведь не случайно встретились и работали Панафидин с Лыжиным, коли вместе запатентовали двенадцать серьезных научных работ. А потом Лыжин исчез. Но он же только из картошки патентного бюро исчез – из жизни-то не исчез, наверное? А как с Панафидиным разошлись? Впрочем, чепуха все это. Женился и уехал в Елец, например, – вот тебе и весь секрет.

– Почему вы этим интересуетесь? – настороженно спросил Благолепов.

– Потому, что у меня сложилось неприятное впечатление, будто крупному научному открытию дал путевку в жизнь преступник. Или, во всяком случае, первый применил его.

Профессор одернул на себе телогрейку, засунул поглубже большие пальцы за солдатский ремень, откинул назад крупную лысую голову, словно хотел рассмотреть меня получше, неопределенно хмыкнул:

– Что же, истории и такие случаи ведомы.

– А именно?

– Ну хотя бы изобретение ацетиленовой горелки. Когда Шарль Пикар опубликовал свою работу, коллеги подняли его на смех. А лондонские налетчики, не имевшие достаточ-

ной подготовки, чтобы усомниться в научной компетентности Пикара, заказали по его схеме автоген и через месяц разрезали бронированный сейф Коммерческого банка. – Благолепов медленно, осторожно нагнулся, поднял с земли лопату, грабли, аккуратно прислонил их к коричнево-серому стволу яблони, показал мне на скамейку. – Присаживайтесь, в ногах правды нету.

Скамейка была хороша. На двух гранитных валунах покоилось дубовое бревно, плавно и очень удобно углубленное в середине; сзади и сверху затеняли скамью ветки старого осокоря, а перед ней вкопали в землю стол – пень, любовно и умело вырубленный в нужную форму, необъятный, в два обхвата.

В этом саду было все необычно – я таких садов и не видел никогда. По сложенному из крупных, с прозеленью булыжников альпинарию сочился прозрачно-льдистый ручеек, вода натекала в округлую каменную чашу и переливалась из нее стеклянным водопадом в маленькое озерцо. От капель разбегались к берегам, заросшим папоротником, ровные плавные круги, ветерок шевелил на игрушечных волнах красно-желто-зеленые кораблики опавшей листвы. В саду засохшие деревья не спиливали, а снимали с них кору, подрезали ненужные ветки, дуб шкурили до древесины и покрывали польским паркетным лаком, и стояли в сумраке живых деревьев янтарные, густо-медового цвета лешаки и ведьмы, застывшие для прыжка олени, солнечно просвечивали

диковинные птицы и удивительные неземные звери.

Дорожки, выложенные каменными узорами, цветники, причудливо подстриженные кусты, прямоугольный газон перед домом, зеленый и гладкий, как бильярд.

– Вы курите? – спросил Благолепов.

– Нет. Не научился.

– Похвально. А я вот стражду – последний окурок погасил о носилки, когда меня тащили с третьим инфарктом. Ну, во всяком случае, хорошо, что вы не курите, говорить будет легче, иначе мы бы мучили друг друга искушением и воздержанием. А кофе пьете?

– Охотно.

– Пойдем в дом или на воздухе?

– В саду было бы приятнее, но это, наверное, сложно.

– Отчего же? Сейчас мы с вами здесь прекрасно расположимся. Посидите, подышите пока.

Благолепов пошел к даче. Он шел не спеша, глядя в землю, и все шаги у него были разной длины, будто он видел на дорожке одному ему заметные ямки и перед каждой ненадолго задумывался – перешагнуть, обойти или по причине мелкости ступить прямо в углубление. Держался он неестественно прямо, словно нес в груди своей пугливого зверька, которого ни в коем случае нельзя было беспокоить.

Позвонив на квартиру профессора и не застав его дома, я не поленился приехать сюда, в Опалиху, на дачу, потому что в избранном мною принципе исследования деловой ка-

рьеры Панафидина разговор с его научным руководителем должен был стать отправным моментом.

Когда я пришел, Благолепов окапывал яблони. Перепоясанный ремнем, за который он то и дело засовывал большие пальцы, в штанах, заправленных в белые шерстяные носки, с большущей лысой головой и длинными сивыми усами, он больше походил на чумака, чем на профессора биохимии. Да, вид у него был хоть куда, и лишь по тому, как он осторожно носил в себе усталое стеклянное сердце, чувствовалось, что он сильно болен.

Очень тихо было в саду. Отзванивали капли на озерце, да серая птичка с зеленым воротничком раскачивалась невдалеке от меня на ветке и выкрикивала тоненько: цви-цви-цуик, цви-цви-цуик. Красноватое вечернее солнце повисло на рукастой сосне как детский шарик, лиловый туман слоился полосами у забора в конце сада.

Стукнула дверь в доме, на крыльце показался Благолепов с подносом в руках. И шел он с ним все так же прямо, как жрец великий, возносящий к алтарю священную жертву. Я взял у него поднос, поставил на стол. В середину пня был врезан керамический горшок-петух, над которым дымились желтые, красные, багровые, синие взрывы махровых астр. Остро пахло мокрой землей, яблоками и жжеными листьями.

На подносе уместились банка с кофейными зернами, спиртовка, мельница, похожая на зенитный снаряд с ручкой

на хвосте, сахарница, две тонкие фарфоровые чашечки, серебряные с прочерную ложечки.

– Вы кофе любите? – спросил он.

– Как вам сказать... Люблю, наверное.

Благолепов усмехнулся, подергал себя за ус:

– Значит, не любите. Кофе можно любить только страстно – как любовницу, дабы с соблазном соседствовал запрет, это придает ему особую терпкость и неповторимый вкус. Чтобы ощутить его прелесть полностью, необходим категорический врачебный запрет.

– Вам ведь, наверное, врачи не рекомендуют кофе, – заметил я осторожно.

– Мне врачи «не рекомендуют» всё, – засмеялся старик. – Но в моем возрасте человек уже должен научиться решать сам. Мне этого, кстати, всю жизнь не хватало...

– Глядя на вас, так не скажешь.

– Глядя ни про кого ничего не скажешь. Глаза – обманщики, лжесвидетели, предатели. Глазам не стоит верить. О-хо-хо. – Он грузно сел на скамью, положил в спиртовку несколько круглых рафинадно-белых кусочков сухого спирта, насыпал в мельницу зерен и протянул ее мне. – Работайте.

Я крутил за хвост зенитный снаряд, а Благолепов положил в турку сахар, подошел к водопадику и набрал в нее прозрачной, слегка пахнувшей травой воды. От бешеного кручения маленьких жерновов мой снаряд разогрелся, и вокруг пополз горьковатый тонкий запах теплого свежесмолотого кофе.

– Хватит, – сказал Благолепов.

Я передал ему мельницу, и он высыпал в турку коричневый благоухающий порошок. Кофе застыл на воде горкой: он очень медленно вбирал влагу. Потом профессор бросил туда же крошечную щепотку соли, поставил сосуд на спиртовку и чиркнул спичкой. Бегучее пламя лизнуло доньшко турки и еле слышно загудело.

– Если мне принять ваш совет не доверяться глазам своим, то, не будучи специалистом в таком тонком вопросе, я должен сразу же сдать, а расследование прекратить, – сказал я.

– А мне как раз кажется, что ваша некомпетентность в специальной стороне вопроса является преимуществом: вы будете свободны от бремени авторитетных мнений.

– Как лондонские налетчики?

Старик засмеялся:

– Ну что-то вроде. Позвольте вас спросить: вы подозреваете в чем-то профессора Панафидина?

– Нет. Но он знает гораздо больше, чем говорит. Панафидин о чем-то умалчивает, и мне это не нравится.

– Зря вам это не нравится. Все люди, во всяком случае все разумные люди, знают гораздо больше, чем говорят. А Панафидин – образцовый ученый муж, я бы даже сказал, что он эталон современного понятия «хомо сайентификус».

– Что же именно характеризует Панафидина как образцового современного ученого?

– Он молод, а я глубоко уверен, что золотая пора ученого – это грань между молодостью и зрелостью. Именно в эту пору совершаются большие открытия. Он честолюбив, а честолюбие, эта злая птица, выносит немало исследователей к вершинам знаний и славы. Он умеет заставить работать своих сотрудников в нужном ему направлении, столько и так, чтобы получить от них максимальную отдачу. Он хорошо подготовлен теоретически, и ему идей не занимать. Наконец, он умеет толково тратить отпущенные ему деньги – столь же ценное, сколь и редкое умение для научных руководителей. – Все это Благолепов говорил как-то вяло, я не чувствовал в его словах внутренней уверенности. Потом он умолк, я подождал немного и спросил:

– Илья Петрович, и это все?

– Не так уж мало. Кроме того, он деловит и чужд всякой сентиментальности. У него работал очень способный, но ершистый парень – Нил Петрович Горовой. Оперившись, он стал препираться с Панафидиным. Тот решил, что ему строптивные сотрудники не нужны, и в два счета выпер его из лаборатории. А это было ошибкой – ведь Панафидин обычно четко знает, чего он хочет.

– А чего он хочет?

– Он хочет больших научных открытий.

Мне показалось, что в последних словах Благолепова промелькнула еле заметная усмешка. Я спросил:

– Профессор Панафидин хочет сделать какое-то конкрет-

ное, давно волнующее его как ученого открытие или человек по фамилии Панафидин жаждет открытий, успеха и славы?

Благолепов засмеялся:

– Ваш вопрос наивен. Кроме того, молодой человек, я в разговоре чуть приоткрыл дверь, и вы сразу же засунули туда ногу. Теперь вы пропихиваете плечо.

– Я ведь не скрываю, что мне надо пролезть к вам в душу.

Пенка в кофейнике уплотнилась, почернела, вздыбилась. Благолепов снял турку с огня и разлил по чашкам кофе. Спирт в конфорке выгорел, и от него подымалась отвесная струйка молочно-сизого дыма. Птичка на ветке подпрыгнула, крикнула «цви-цви-цуик» и улетела. Сумерки сгустились.

Благолепов отпил кофе, прикрыл глаза, покачал головой с боку на бок, причмокнул от удовольствия:

– Эх, хорошо. – Потом повернулся ко мне и, пристально глядя на меня из-под вислых, тяжелых век, сказал: – Я думаю, вы бы это скрывали, кабы знали, что Александр Панафидин – мой зять.

У меня было такое ощущение, будто Благолепов взял меня за ворот и швырнул в свое прозрачное игрушечное озерцо. Перед глазами стояла анкета Панафидина, заполненная его твердым, без наклона почерком: «Жена – Панафидина Ольга Ильинична, 1935 г. р.».

Благолепов как ни в чем не бывало продолжал:

– Но раз вы заверили меня, что ни в чем не подозревае-

те Александра Николаевича, я могу продолжать разговор со всей искренностью и доступной мне объективностью.

– Значит, мы можем поговорить начистоту, – заметил я. – Поэтому сразу же спрошу: мне показалось, что в вашей характеристике современного ученого мужа, как вы называете его – «хомо сайентификус», гораздо больше модных расхожих представлений, чем ваших убеждений. Это так или я ошибся?

Благолепов грел о чашку ладони, задумчиво смотрел на оранжевое зарево догорающего заката, потом очень грустно сказал:

– Произошла со мной нелепая история. Привезли меня сюда после больницы, обошел я сад, посидел на этой скамейке, посмотрел на воду, палую листву и вдруг понял, не умом, а сердцем, всем существом своим я это почувствовал: жизнь моя окончательно и безвозвратно прожита. Тут штука в чем – я ведь не смерти испугался (с тремя инфарктами привыкаешь) – в этом абсолютно новом для меня ощущении законченности моего существования. Бессмысленно беречь себя – для меня вопрос бытия в лучшем случае несколько месяцев. Бессмысленно начинать какое-то дело – все равно не успею закончить. Бессмысленно что-либо перерешать – сил не хватит досказать. Бессмысленно кому-то объяснять – ни у кого не хватит времени дослушать.

– А вы хотели бы что-то изменить? – спросил я напрямик, потому что у меня возникло ощущение, словно он замани-

вает меня своими разговорами. Внутрь не пускает, а только приоткрывает щелку и сразу – хлоп дверью перед носом. И сейчас он ответил не сразу, а словно прикинул сначала: говорить или не стоит?

– Я всегда завидовал людям, которые на пороге смерти отказываются от волшебного дара возвращения молодости, потому что якобы снова прожили бы ту же самую жизнь – с удовольствием и убежденностью. Явись ко мне сейчас Мефистофель, я бы прожил свою новую жизнь совсем по-другому...

– Вы поискали бы иное призвание? Или других людей?

– Нет, дело не в этом. Жизнь представляется мне длинной цепью причинно-связанных решений. Вот я и принял бы совершенно иные решения, и жизнь получилась бы совсем другая.

– Но для вас лично ведь ничего бы не изменилось, пробежали бы десятилетия, и мы с вами вновь, описав кольцо времени, сидели бы осенним вечером в саду на скамье и пили кофе?

– Возможно. Но многое изменилось бы для тех людей, с которыми были связаны мои решения. Изменилось бы так серьезно, что, может быть, мы и не сидели бы здесь с вами. Да и мое призвание, возможно, было бы другим...

– Разве вы не считаете науку своим истинным призванием?

– Как вам сказать? Наука – это совсем особая планета,

и приживаются на ней в первую очередь люди, которых мы здесь в суете считаем странноватыми чудаками, заумными, а они просто очень погружены в свои размышления и от задумчивости своей говорят и поступают невпопад, отчего становятся застенчиво-робкими, еще больше углубляются в свои размышления и постепенно становятся одержимыми. И мысль такого человека бьется с мглой незнания, с путями традиционности, с вязкой пустотой отвлеченности, всегда – во сне, на работе, за чаем, в кино, ибо одержимость стала формой и способом его существования. Вот тогда Ломоносов и заявляет, что никакого теплорода не существует, а энергия не исчезает. И безвестный служащий патентного бюро формулирует теорию относительности, затрагивающую самые основы естественно-научного мышления, а мир только годы спустя узнает, что Альберт Эйнштейн – гений.

– Илья Петрович, а Панафидин – одержимый ученый?

Благолепов долил мне в чашку кофе, покрутил в руках пустую турку, решительно поставил ее на стол. Сказал с досадой:

– Меня удручает ваш практицизм. – И вдруг, улыбнувшись каким-то своим мыслям, ответил на мой вопрос: – Нет. Александр – не робкий, задумчивый чудака. Он очень жить любит. Если он идет в кино, то за свой полтинник внимательно смотрит до конца самую скучную ленту. Обедает он всегда с аппетитом. И спит крепко и спокойно ровно восемь часов. О науке он думает на работе.

– Вы думаете, что большого – самого главного для себя – открытия ему не сделать?

– Боюсь, что нет. Существует категория мужчин, которая пользуется большим успехом у неумных женщин. Это создает таким мужчинам репутацию неотразимых. В науке существует клан людей, которые с первого шага совершают массу маленьких толковых успешных дел. И полезных при этом. Вот таких способных ребят мы щедро наделяем погонями «таланта». А жизнь большого ученого в науке должна начинаться с неудач, как обычно бывают несчастливы в первой любви настоящие мужчины...

Старик замолчал, заря догорела совсем, и там, где светлела еще недавно яркая закатная полоса, вспыхнула мерцающая желтая звезда, тревожная и злая. В саду стало темно. Подул прохладный резкий ветерок, Благолепов поежился и спрятал зябнувшие кисти рук под мышки. И тогда я решился:

– Илья Петрович, мог Лыжин сам синтезировать метапропизол?

Совершенно автоматически он ответил:

– Это невероятно трудно, но Володя... – Тут он остановился, поднял на меня глаза, покачал головой. – Вот вы и вошли в дверь. Но ответить на ваш вопрос я затрудняюсь. Я вам раньше говорил – у меня уже не осталось времени во что-то вмешиваться. Я не знаю. Очень много я совершил в жизни ошибок и не хотел бы совершить еще одну. Вы наверняка и без меня разберетесь.

Я помолчал, потом сказал:

– Вы тоже говорите гораздо меньше, чем знаете.

– Только кажется, будто я что-то знаю. Я могу лишь догадываться. Но вмешиваться не хочу – у меня нет сил волноваться, мне остался только этот островок покоя.

Вопреки широко распространенному мнению, что самые сложные, запутанные и непонятные дела в МУРе нарасхват, старые опытные инспектора любой ценой стараются от них открутиться. Только им в полной мере известно, какими изнурительно скучными буднями, невероятно кропотливым, мелочным, утомительным трудом, неприятностями от начальства, жалобами потерпевших и представлениями прокуратуры оборачивается для расследователя интересность этих дел.

Но все зубры криминального сыска, сколь бы ни были они разными по психологическому строю и эмоциональному складу, обладают чертой, выдвинувшей их в конце концов в число лучших и опытнейших: вступив однажды в дело, каждый из них раз и навсегда проникается ощущением, что преступник воюет против него лично. Самый распрекрасный тренер не может во время боя подсказать нужные движения и поступки секундируемому боксеру, не может передать ему свою реакцию, не может ощутить боль пропущенных ударов. Настоящий сыщик, приняв дело к расследованию, не может следить за ним из угла за канатами. Он должен выйти на ринг

сам, и с этого момента он забывает о гудящем вокруг зале, о том, что дерется за кого-то, и в этом нелепом, фантастическом соревновании ему часто приходится проводить первые два раунда с невидимым партнером, который где-то здесь, рядом, на залитом светом квадрате – слышно его глухое дыхание, вот он нанес тяжелый удар в голову, в корпус, дух захватило, надо отбиваться прямыми встречными, чтобы отогнать его подальше, прижать к канатам, в угол, он должен быть где-то совсем рядом, удар вот сюда, еще удар – попал!

И происходит непостижимое чудо: чем больше пропускает преступник ударов, тем заметнее он становится сыщику, испаряется его оболочка невидимки, исчезает навязчивый кошмар боя с тенью, враг становится осязаемым, реальным, достижимым...

Я раздумывал об этом, стоя в тамбуре электрички. Мысли были обрывочные, скачущие, как дыхание у боксера, сидящего на табуреточке в углу, в перерыве между раундами. Кто такой и чем занимается Горовой? Надо снова допросить жену Позднякова, разобраться глубже в ее взаимоотношениях с Панафидиным... Надо выяснить, знает ли Панафидин Позднякова... Узнать, почему разошлись Панафидин с Лыжиным... Есть ли связь между Лыжиным и Желонкиной... Чем занимается Лыжин в 12-й неврологической больнице, где он сейчас работает... Надо подробнее изучить непосредственное окружение Пачкалиной – именно оттуда, вероятнее всего, сделан на нее навод «самочинщикам» с удостове-

рением Позднякова... Но в первую очередь надо поговорить с Лыжиным...

На вокзальных часах было двадцать минут девятого. Вечер пропал, подумал я. Если отложить на завтра встречу с Лыжиным, то пропадет и половина завтрашнего дня, а так нужно побывать дома у Пачкалиной! Может быть, заехать к Лыжину? Коли я застану его дома, это высвободит завтра массу времени. Домашний адрес Лыжина у меня был. Я еще минуту колебался, потом сел в такси и сказал шоферу:

– В Трехпрудный переулок.

Это был дореволюционной постройки шестиэтажный дом с флигелями, боковыми пристройками, дворами-колодцами. На скамейке под фонарем сидела компания молодых ребят, один из них играл на гитаре и пел нарочито хриплым голосом. Он очень старался хрипеть, чтобы выходило похоже на «роллинг стоунзов», но голос, молодой, чистый, его не слушался – выходило все равно хорошо. Один из ребят подбежал ко мне, скороговоркой бормотнул:

– Дя-енька, дай закурить!

Я остановился, посмотрел на парня – белобрысого, веснушчатого. Оттого что он быстро шевелил верхней губой и подергивал коротким вздернутым носом, казался парень сопливым и нахальным. Мне хотелось сказать ему, что мальчишкам курить нельзя, что глупо сидеть здесь на лавке, что ужасно жаль, если из них выйдут Борисы Чебаковы и какому-то неизвестному Позднякову придется держать их на уче-

те... Но ничего не сказал: нельзя воспитывать людей в подворотне, походя. Для этого нужно прожить неблагодарную, трудную жизнь Позднякова. Я повернулся и вошел в подъезд. Парень крикнул вслед:

– Жадюга!

Лифта не было. Я медленно шел по лестнице на четвертый этаж, марши были огромные, на некоторых площадках свет не горел, пахло кошками. Под звонком висели таблички с фамилиями жильцов, но рассмотреть их было невозможно, и я позвонил один раз. За дверью долго было тихо, потом раздались негромкие шаркающие шаги, стукнула цепочка, щелкнул замок, в узкую щель глянуло плоское старушечье лицо:

– Кого надо?

– Мне нужен Владимир Константиныч.

– Три звонка ему звонить. А вы кто ему будете?

Я усмехнулся:

– А вы?

– Я? Как кто? Соседка я ему!

– А я знакомый. Так он дома?

– Нету его. – И захлопнула дверь.

Чертыхнувшись, я пошел вниз. Было обидно за потерянный вечер, и я решил съездить к Горовому. Позвонил из автомата на Петровку, и мне довольно быстро нашли его адрес.

– Не знаю я, кто это сказал – не то Лассаль, не то Пастер,

а может быть, Паскаль или вовсе Лассар, – засмеялся Горовой. – Но сказал, к сожалению, верно.

– Не похожи вы на пессимиста, Нил Петрович, – заметил я.

– Так дело не в пессимизме. Вы же сами на своей работе часто встречаетесь с этим: справедливость извечно была предметом споров, а сила всегда очевидна. И поэтому гораздо легче сделать, увидеть или назвать Сильное – справедливым, чем Справедливое – сильным.

– Ну коли зашла речь о моей работе, то ее задача и есть наделять справедливость необходимой силой.

– Да я и не спорю, но ведь большинство человеческих конфликтов, нуждающихся в сильной справедливости, не опускается, к счастью, до норм уголовного права. – Горовой хитро смотрел на меня, чуть откинув назад крупную, уже начавшую лысеть голову. Для его среднего роста и худощавой комплекции голова была, пожалуй, крупновата, зато, доведись кому-либо, хоть и Пачкалиной, опознавать Горового, пускай даже по самой плохой фотографии, это не вызвало бы затруднений.

Я смотрел на него, и меня не покидало ощущение, что все свое внимание, всю фантазию, все силы отдал творец этой головы верхней ее части – мощный лоб куполом, подвижные брови взлет, сильное переносье треугольником и чуть прищуренные глаза насмешника, шкодника и забияки. Кончик носа с глубоко прорезанными чувственными ноздрями еще

нес след вдумчивой работы, хотя он уже, короче и вздернутой, чем это необходимо по жестким требованиям пропорции и гармонии. А рот и тем более подбородок создавались наверняка в пятницу вечером, к концу рабочего дня – это была уже откровенная халтура: прилепили случайно оказавшиеся под рукой пухлые губки бантиком и маленький, словно стертый, подбородок – и вышел в свет со своим негармоничным, обаятельным и веселым лицом Нил Петрович Горовой, к которому я приехал около десяти часов вечера, застав его семью в сборах для переезда на новую квартиру.

Мебель была отодвинута от стен, из серванта вынуты стекла, телевизор, перевязанный веревкой, стоял на полу, упакованные чемоданы, узлы, свертки, одинокая лампочка вместо отсоединенной и обернутой тканью люстры, сложенные в углу штабелем бакалейные картонные ящики, на которых написано красным фломастером: «Химия – математика», «Педагогика», «Поэзия», «Проза», «Фантастика», «Смесь»...

И стулья тоже были связаны в многоногий квадратный стог. Жена Горового растерянно разводила руками:

– Господи, посадить человека некуда, чаем напоить не из чего...

Все-таки местечко отыскали: меня Горовой усадил на чемодан, скрученный белой толстой веревкой, а сам пристроился на подоконнике. Несмотря на мои возражения, жена его убежала к соседям доставать чайник и стаканы.

А Горовой с детской гордостью демонстрировал мне лист

зеленой гербовой бумаги, поперек которой было написано красными печатными буквами «Ордер», и объяснял, что Теплый Стан, несомненно, самый красивый и здоровый район массовой застройки.

– Мы с соседями прекрасно жили всегда, но отдельная квартира – это все-таки здорово! Что ни говорите, а здорово! – повторял он, словно я убеждал его отказаться от ордера. – Вот только в школу мне будет ездить далековато. Да, впрочем, и это не страшно: там скоро пустят метро.

– Там ведь и школы новые строят, а у вас специальность дефицитная – преподаватель химии. Может быть, туда перевестись? Ближе к дому?

– Ну это не по мне! – отрезал Горовой, и веселый блеск в его глазах на миг пригас. – Принимая седьмой класс, я веду его до окончания школы.

– Но там, наверное, такие же точно ребята? – спросил я.

– Да, конечно. Но, по моему убеждению, ничто так не убивает интерес ребят к предмету, как смена педагога. – Он развел руками, словно извиняясь передо мной за мою непонятливость. – Я хочу сказать, что учитель знания обязательно должен быть для детей и воспитателем чувств. И нужен немалый срок для того, чтобы ребенок принял учителя на эту должность – воспитателя, потому что руководствуется он другими критериями, чем отдел кадров горно. И разрушать веру ребенка в чудо узнавания, которое ему может принести только его воспитатель, нельзя...

– Но ведь приходится считаться с реальными обстоятельствами: учителя в силу самых разных причин меняются, и тут ничего не сделаешь.

– Не сделаешь, – согласился он. – А я все-таки верю, что когда наше общество достигнет необходимого духовного и материального расцвета, то будут конкурсы не на замещение должности научных сотрудников, солистов оперы, главных конструкторов и балетных примадонн, а учредят конкурс-испытание на место школьного учителя.

Наверное, на моем лице не было достаточного понимания значительности этой перспективы в эпоху материального и духовного расцвета моих будущих внуков, потому что Горовой, бросив на меня косо́й взгляд, нахмурился, а потом, не выдержав, улыбнулся:

– Ну ладно, не волнует это вас совсем, я вижу! Мой энтузиазм понять можно: толкового химика из меня не вышло, вот я и мечтаю, чтобы из ста моих школьных выпускников нашелся один, который сделает с походом – и за себя, и за меня.

– Охотно присоединяюсь к вашей надежде. И хочу спросить, кстати: при каких обстоятельствах из вас не вышло, как вы говорите, толкового химика?

– При обстоятельствах житейских, – засмеялся Горовой. – В одном мешке оказалось не два кота, а целая компания, и с очень уж разными характерами.

– Наверное, такая ситуация может помешать служебному

продвижению, – заметил я. – Но статья толковым специалистом...

– Нет, нет, нет! – замахал руками Горовой. – Вы не поняли – я не ссылаюсь на обстановку. Просто из-за сложившихся отношений с руководителем лаборатории я вылетел раньше, чем стал хорошим специалистом.

– А кто был вашим руководителем?

– Есть такой деятель науки и техники – Александр Николаевич Панафидин. Сейчас он уже в корифеях ходит.

– У вас возник с ним конфликт?

– Ну, как вам сказать, все это протекало очень протокольно, достойно и вежливо: просто я не уложился в аспирантский срок, и он меня мгновенно вышиб из лаборатории. Так что для бурных сцен ни времени, ни условий не оказалось.

– А как он объяснил свою непримиримость?

– Чего же там объяснять? Формально у него были для этого основания, а всем ходатаям за меня он сообщал доходчиво и категорично: «Горовой химию не любит». Самое смешное, что, по-моему, он оказался прав.

– То есть?

– Тогда я прямо задыхался от обиды, ярости и горя и пошел в учителя на год, потому что место, обещанное мне в одной проблемной лаборатории, еще только должно было освободиться. А пробежало с тех пор почти пять лет, и уходить из школы я не думаю.

– Интересно?

– Это, наверное, не то определение. Просто я случайно открыл для себя свое настоящее призвание, я ведь никогда раньше и не думал заниматься преподаванием. А это, оказывается, такой прекрасный, удивительный мир! Очень хотелось бы, коли найдется время и силы, написать о школе книжку.

– Художественную? – полюбопытствовал я.

– Да что вы! Это не по моей части. Так, размышления кое-какие о педагогике, о преподавании скучных предметов, о поведении учителя.

– Почему же вы поссорились с Панафидиным? – вернулся я к интересующим меня вопросам.

– От глупости, – блеснул своими хитрыми быстрыми глазами Горовой. – Тогда я еще не знал, что лучшие специалисты частенько возражают против принципиальной реформации их идей, поскольку это содержит в себе покушение на их титул «лучшего».

– А вы покушались на идеи Панафидина? Или на его титул?

– Ну по тем временам я еще был слаб в коленках – соперничать с Панафидиным. Забавно, кстати, что он всего на несколько лет старше меня. Но он относится к тому редкостному племени человеческого, которое чуть ли не с пеленок предназначается для руководства остальными людьми, не снедаемыми невыносимым зудом бежать впереди всех.

– Так почему же он был недоволен вами, Нил Петрович?

– Потому, что есть в нем опасное свойство – неконтролируемая увлеченность собственными идеями. А я позволил себе роскошь вслух над ними хихикать. Собственно, это даже не его была идея, а придумали они ее вместе с Володей Лыжиным – был у нас в лаборатории такой парень.

– Выходит, что вы хихикали и над идеей Лыжина?

– Это выходит, если закапываться совсем глубоко, потому что, во-первых, идей у Лыжина каждый день была дюжина, во-вторых, когда его идеи громили, он только улыбался и придумывал на другой день что-нибудь новое. А Панафидин никогда в жизни не признал бы, что в основе его системы лежит лыжинская мысль.

– Эта мысль Лыжина касалась метапроптизола?

Горовой кивнул:

– Да. У Лыжина, с моей точки зрения, блистательное теоретическое мышление, которого здорово не хватает Панафидину. Будучи отличным экспериментатором, Панафидин пытался реализовать концепцию Лыжина о дифференцированном, по отдельным радикальным группам, синтезе гигантской тиазиновой молекулы метапроптизола. Я выполнял часть этой работы.

– И не верили в успех?

– Сначала верил. Отдельные фракции мы отработывали очень лихо. Ну и, чего греха таить, тогда сильно грело сознание неумолимо приближающейся кандидатской защиты – это было беспроектное дело: ведь мы синтезировали це-

лое семейство новых веществ. А потом...

Горовой замолчал, удобнее устраиваясь на своем подоконнике. Он сидел, прислоняясь головой к стене, и взгляд его летел поверх моей головы – туда, в те уже невозвратно промчавшиеся годы, когда еще не было найдено призвание и не жило в сердце ощущение счастья выпускать из своих классов много толковых, хороших ребят, один из которых сделает с походом за себя и за учителя, – того счастья, что больше радости от защиты диссертации.

– А потом я понял, что мы в тупике. Случайно я услышал разговор: Лыжин предлагал новые пути, а Панафидин бился с ним, как лев. И, вслушиваясь в аргументы Панафидина, я понял, что он сознательно пытается срастить идею Лыжина с результатами наших экспериментов, которые он, как хитрый ученик, подгонял под готовый ответ в конце задачника.

– Вы считаете Панафидина недобросовестным ученым?

– Ну это уж крайность! Я думаю, что, не будучи слишком щепетильным человеком, Панафидин-ученый просто создавал себе некоторые поблажки, искренне выдавая желаемое за действительное. Я, может быть, этого и не сообразил бы тогда, кабы не услышал сомнений Лыжина, но это был толчок для моих размышлений. В конце концов я увидел, что мы на неправильном пути...

– Нил Петрович, а вы сказали об этом Панафидину?

– Конечно. Он выслушал меня и предложил поставить опыты, которые опровергли бы его представления. Это была

долгая и не очень результативная работа – я не окончил старого и не успел сделать что-либо новое. А три года пробегают очень быстро, и в один не больно-то прекрасный день Панафидин объявил мне, что он благодарит меня за сотрудничество – скатертью, мол, дорожка.

– С вашей точки зрения, Панафидин – талантливый ученый?

– Несомненно, – уверенно кивнул Горовой. – Он и человек талантливый. Но лучше бы ему заниматься той деятельностью, где нужно поменьше уверенности в себе.

– Почему?

– Как вам сказать? Научная работа требует от человека постоянных сомнений, вечной потребности еще раз подумать, снова проверить, взглянуть по-новому, способности поднять поиски истины выше всех наших маленьких людских страстей.

– А Панафидин не может?

Горовой пожал плечами:

– Талантливый человек Панафидин в любом споре добивается не истины, а победы. Талантливого ученого Панафидина это может далеко завести.

– Далеко или высоко? – спросил я с нажимом.

– В науке эти векторы иногда совпадают. Спор о разнице между людьми, любящими себя в науке, и теми, кто любит науку в себе, еще не окончен.

– Лыжина вы больше не встречали?

– Нет, но я слышал, что у них с Панафидиным вышла крупная ссора и Лыжин ушел из лаборатории. Подробности я не знаю.

– Как вы думаете, могли Панафидин или Лыжин самостоятельно получить метапроптитозол?

Горовой пожал плечами:

– Это очень сложный вопрос. У Панафидина гораздо больше шансов за счет прекрасной научной базы и экспериментаторского дарования. А Лыжин – ученый с великолепной фантазией, воображением художника, громадной памятью и способностью мыслить очень широкими категориями.

– Как же случилось, что ученый с такими задатками мог кануть в безвестность?

– Ученые не кинозвезды, их портреты не вывешивают на уличных стендах. А в научном мире его здорово давит Панафидин. Он ведь член всех редколлегий и ученых советов, через которые может пробиваться со своими публикациями Лыжин.

Я недовольно покачал головой:

– Мне как-то не верится, чтобы весь научный мир так уж безоговорочно поддержал Панафидина, если бы он отстаивал неправильную идею.

Горовой сердито покосился на меня:

– А зачем эти обобщения: «весь научный мир», «безоговорочно», «неправильная идея»? Научный прогресс – это торжество новых идей, и успех их часто связан с авторитетом

их носителя. Кабы прославленный петербургский физиолог Пашутин не объявил исследования Льва Соболева на поджелудочной железе бесперспективными заблуждениями, то, скорее всего, Соболев, а не Фредерик Бантинг получил бы Нобелевскую премию за открытие инсулина. Но, как вы говорите, «весь научный мир» гораздо охотнее прислушивался к мнению крупнейшего авторитета в этой области, чем к голосу безвестного новичка. Неудивительно, что мнение Панафидина для любого человека много весомее, чем неосуществимые фантазии какого-то неведомого Лыжина.

О многом еще мы с ним говорили, но я так и не приблизился ни на шаг к решению этого запутанного, совсем непонятного дела. И все больше меня начинал интересовать Лыжин – фигура любопытная, загадочная, но пока безликая.

* * *

«...Подобно листьям осенним, сорванным ветром, кружатся и пропадают во тьме времен годы. Ты идешь, лекарь, сквозь людские страдания, ниспосланные Богом, природой, человеческим невежеством. Жадно открытыми глазами смотришь на мир, учишься искусству врачевания сам, учишь других... Ты убеждаешься, что чтение книг еще не создает врача – врача создает только практика...»

Я кладу на скамью свою записную книжку, толстую, кожей переплетенную. Полковой лекарь воинства датского ко-

роля Христиана, я практики имею предостаточно: большие трофеи и полторы тысячи раненых принес штурм непокорного Стокгольма. На мою долю трофеев пришлось 116 гульденов и все раненые. Обожженные, с переломами рук и ног, с разбитыми ребрами, вытекшими глазами, с пулевыми ранами, проникшими внутрь организма и навывлет пробитыми, с оторванными от костей мускулами, проломленными головами – все они ждут исцеления от мук.

Холодный ветер с залива дует в выбитые окна старого магистрата, где расположен госпиталь. Свечей нет, и три драгуна держат над столом пучки смолистой сосновой лучины, горящей светлым потрескивающим пламенем. Семнадцатилетний рыцарь Соренсен, с еле заметными усиками на верхней губе, первым взобрался на крепостной контрфорс, и тут же осколком ядра ему размозжило правую голень. Юноша дрожит от боли и испуга, глядя на свою исковерканную багровую ногу, рану, начавшую чернеть по краям. Я даю ему стакан можжевелевой водки:

– Выпей, друг мой. Алкоголь заглушит твои чувства, уменьшит страдания.

Безмолвно, покорно берет Соренсен стакан, пьет с отвращением, и зубы его громко стучат о стекло. Я киваю солдатам, исполняющим обязанности санитаров, те молча, быстро укладывают рыцаря на стол, накрепко привязывают конской подпругой, и юноша в смертном ужасе от предстоящей муки тонко, по-заячьи кричит:

– Не надо... не надо... я не хочу быть калеккой... лучше умереть!..

– Нож, таз, жгут! – оглушительно кричу я лекарским помощникам, и те повинуются проворно и ловко.

Короткий, очень острый ланцет неумолимо полоснул белую мальчишескую кожу выше колена – раз снаружи, раз изнутри, мелькнул светлый слой жира и сразу стал окрашиваться багровой струей хлынувшей в разрез крови.

– Жгут! – кричу я.

Впилась коричневая змея жгута выше надреза, стянула сосуды, я промокнул корпией раны и полоснул ланцетом по мышце.

– Следите внимательно за моими действиями, – говорю я помощникам. – Я мог бы оставить ему колено, удалив конечность по суставу на сгибе. Но черные ростки гнойного воспаления, с которыми мы не можем бороться, уже потянулись вверх по ноге. Решим, как полководец в сражении: лучше потерять часть, чем лишиться всего войска...

Ужасным, разрывающим душу, нечеловеческим криком исходит привязанный к столу юноша. Одному из драгун, державших лучины, стало плохо, и он со стоном падает на пол. Рассыпалась лучина, и угольки, закатываясь в лужи стекающей со стола крови, гаснут с пронзительным шипением.

– Уберите его отсюда вон! – кричу я. – Еще огня! Дайте несколько факелов...

Драгуна сразу же оттащили в сторону, вспыхнул огонь, с

новой силой пронзительным визгом зашелся раненый. Из раны показалась сахарно-белая берцовая кость.

– Пилу! – командую я. – Стакан водки!

Помощник подносит мне стакан к губам.

– Да не мне! Больному!..

Соренсен пьет, захлебываясь, потом его рвет, и он на мгновение стихает.

С посвистом и тонким хрустом врезается пила в кость, и сразу же снова диким воплем заходится несчастный. Лево́й рукой я хватаю ланцет и пересекаю сухожилия – нога отделилась от туловища.

Лекарский помощник берет ее осторожно, кончиками пальцев, и бережно, будто опасаясь причинить ей боль, кладет в таз.

С внешней стороны бедра я оставил длинный лоскут кожи и кусок мышцы – сейчас я загибаю этот кусок конвертом на остаток ноги, закрыв им рану на культе.

– Иглу! – Золотая иголка с шелковой ниткой проворно бега́ет в моих руках, закрывая ровным швом разрез. Я наклоняюсь к Соренсену: – Успокойся, дружок, потерпи еще чуть-чуть, через пять минут все будет кончено...

Но юный рыцарь ничего не отвечает, впав от боли и потери крови в беспамятство.

На стол укладывают рейтара с выбитым глазом и разорванным до уха ртом. Я стою у окна с кружкой подогретого вина, гляжу на серую вспененную воду залива, холод-

ный дождь, заливающий темную булыжную мостовую, черные дымы пожарищ, стелющиеся над крышами разграбленного и разоренного города, красные пятна костров на площадях, слышу крики и ругань пьяной солдатни, ржание напуганных лошадей, тонкий плач брошенного ребенка, заливающие крики маркитантов, и в сердце моем оседает тоска.

Я думаю о том, что занимаюсь не своим делом, что будущее медицины никак не связано с этим варварским, мучительным членосечением. Как объяснить всем, что будущее – в понимании человеческого организма и открытии новых лекарств, которые смогут регулировать течение болезни? Ведь Гиппократ был безусловно не прав, полагая, что организм сам и есть себе целитель. Природные лекарства – растения, которые с успехом применяются, – опровергают это. Значит, можно воздействовать на болезнь и искусственными веществами, как это делают алхимики. Надо лучше узнать и понять природу химических превращений. Но нет времени и нет денег. Надо ехать в Марку – Великие нидерландские штаты...

Подходит лекарский помощник:

– Господин доктор, раненый на столе.

– Иду, иду...

Глава 7

«У меня миленок лысый...»

Зазвонил телефон, и, еще не поднеся трубку к уху, я услышал густой, мазутный голос.

– Тихонов? Дежурный по управлению Суханов. Вчера около двадцати часов два афериста залепили самочинку, – гудело в трубке. Я подумал, что голоса человеческие имеют цвет. У дежурного голос был темно-коричневый. – Генерал почему-то приказал сообщить тебе об этих аферистах. Мол, ты сам знаешь почему, – говорил Суханов. – Я даже удивился: ты же мошенниками не занимаешься?

– Нет, не занимаюсь, – сказал я. – Вообще-то, не занимаюсь.

– Ну, тогда не знаю, – ответил Суханов. – Вам виднее.

– Ага. Ты мне адрес продиктуй.

– Чей? Потерпевшей?

– Ну зачем же... Твой, домашний, – мирно сказал я и подумал, что здесь тоже потерпевшая; не потерпевший, а потерпевшая. Потерпевшая Пачкалина и потерпевшая... – Как ее фамилия?

– Шутишь все, – осудил меня Суханов. – Записывай: Рамазанова Рашида Аббасовна, Щипков переулок, дом двенадцать, квартира сорок шесть. Туда опергруппа уже выехала. Генерал велел послать за тобой машину.

- Очень трогательно.
- Ты в управление потом приедешь?
- Не знаю пока.
- Будь здоров. Машину долго не держи.

Допрашивал инспектор из 4-го отдела МУРа Гнездилов, допрашивал толково и быстро. Я сидел в углу на стуле, повернутом задом наперед, облокотившись на спинку и уперев подбородок в ладони, внимательно слушал, разглядывал комнату, потерпевшую, двоих детей на диване и думал о том, как беда, войдя в человеческий дом, сразу делает похожими самые разные человеческие жилища – богатые и бедные, красивые и безвкусные. Прекрасные, любовно украшенные квартиры и запущенные воровские хазы после обыска имеют так много общего! Распахнулись пухлые животы шкафов, вывалив свои внутренности на пол, на кровати и стулья, везде валяются какие-то бумажки, выдвинуты ящики, разворочено белье, скинуты с полок книги, приподняты половицы и надрезаны обои. Но самое главное, видимо, в той едкой атмосфере испуга, слезливой возбужденности, стыда, боли, умирающей надежды, беспощадной оголенности под взглядами чужих людей.

Квартира Рамазановой была хорошо обставлена, со вкусом украшена, и все в ней было сейчас разбросано, перемешано, царили разор и хаос. Около трельяжа на низеньком пуфе лежал расчесанный и завитой шиньон, и этот треклятый шиньон все время отвлекал меня, расслаблял внимание,

потому что с того места, где я сидел, был он сильно похож на отрубленную голову, и эта аккуратная прическа отрубленной головы не давала мне покоя. И два мальчика – десяти и пяти лет – испуганно смотрели на меня с дивана. А сама Рамазанова держалась хорошо. Молодая стройная женщина с быстрыми синими глазами. Только золотых зубов у нее было многовато – казалось, что она вырвала здоровые зубы и вставила себе два полных золотых протеза.

– Нет, кроме ста двадцати рублей и моего кольца, они ничего не забрали, – быстро повторяла она, и так она все время напирала на то, что взять больше было нечего, будто боялась: не поймут люди безысходной бедности и сирости ее. А так-то держалась она спокойно, уверенно, вот только о пальцах своих совсем забыла, и я все время внимательно наблюдал за ними. Руки у нее были красивые, ухоженные, нежные, и так неожиданно и неприятно было видеть эти руки, сведенные острой судорогой страха и непереносимого душевного волнения. Пальцы крючились, шевелились, сжимались, снова быстро распрямлялись, тряслись истерической тонкой дрожью, и, чтобы как-то унять эту дрожь, Рамазанова подсознательно переплетала их, сцепляла в замок, быстро терла ладонь о ладонь. И вот эта отдельная от нее, суетливая жизнь насмерть перепуганных рук заставляла меня думать о том, что Рамазанова говорит далеко не все.

Я подошел к столу, заглянул через плечо Гнездилова в протокол, похмыкал, вырвал из блокнота лист бумаги и на-

писал на нем: «Умар Рамазанов, коммерческий дир-р промкомбината об-ва „Рыболов-спортсмен“». Потом отозвал к двери молоденького участкового, протянул ему лист и шепнул:

– Позвони в УБХСС капитану Савостьянову. Спроси: так ли зовут его клиента, который подался в бега?

– Слушаюсь.

Участковый вышел, а я вернулся на свой стул в угол комнаты.

– Как они объяснили вам причину обыска? – спрашивал Гнездилов. – Ну почему, мол, обыск у вас надо сделать?

Рванулись, замерли, прыгнули и снова сцепились пальцы.

– Ничего они не объяснили, – сказала медленно Рамазанова. – Просто объявили, что есть санкция прокурора на обыск, и показали бумагу с печатью.

– Но ведь в бумаге должно быть написано, зачем и на каком основании производится обыск?

Рамазанова пожала плечами:

– Я очень испугалась. У меня все перед глазами прыгало, я ничего не понимала.

– Рашида Аббасовна, сядьте, пожалуйста, вот сюда, поближе, – сказал я. – Мне надо задать вам несколько вопросов.

Рамазанова горячо, толчком мазнула меня по лицу взглядом быстрых синих глаз, подошла ближе, оперлась коленом о стул, не села.

– Из ответов, которые вы дали инспектору Гнездилову, я понял, что ваш супруг Умар Рамазанов здесь не проживает, а детей вы воспитываете и содержите сами.

– Да, правильно.

– Когда вы расстались с мужем?

– Года полтора тому назад.

– Извините за любопытство, почему?

Рамазанова дернула плечом, сверкнула золотыми зубами:

– Пожалуйста, я вас извиняю, но это к делу не имеет никакого отношения.

– Может быть. А может быть, имеет. И уж поверьте, я вам эти вопросы задаю не для того, чтобы вечером с соседями обсудить подробности вашей личной жизни. Итак, почему вы расстались с вашим мужем? Когда? При каких обстоятельствах? Кто был инициатором разрыва?

Если бы не пальцы, затравленные, трясущиеся, неловкие, то по лицу Рамазановой можно было бы легко прочитать: какими же глупостями вам угодно заниматься во время серьезного дела!

– Года полтора назад, точнее я не помню, мой муж, видимо, нашел себе другую женщину – поздно приходил, иногда не ночевал, пьянствовал. Начались скандалы, и однажды он совсем ушел. Где он сейчас живет, я не знаю.

– Значит, не знаете. Так и запиши, Гнездилов: не знает. И в последние полтора года вы с ним не виделись?

– Нет, не виделись, и где он сейчас, не знаю.

– Хорошо. А в этой квартире давно живете?

– Около года.

– Очень хорошо, – бормотнул я. – И уж снова простите меня, но мне это надо знать: к вам сюда какие-либо мужчины ходят? Ваши приятели, знакомые или, может быть, бывшие друзья мужа?

– Нет, не ходят. Ни-ка-ки-е мужчины – ни приятели, ни знакомые, ни друзья.

Я поднялся со стула, прошелся по комнате, будто раздумывая над чем-то, остановился около пуфа и дотронулся до шиньона, и вдруг, встав на колени, выкатил из-под дивана два совершенно новеньких игрушечных автомобиля. Красиво раскрашенные немецкие пожарные машины – каждая с лестницей, шлангами, брандмайором в каске.

– Чьи же это такие шикарные машины? – спросил я у ребят.

– Моя, – сказал басом младший, а старший ничего не сказал, только исподлобья смотрел на меня быстрыми материнскими глазами.

– А кто же тебе подарил эту машину? – спросил я.

И снова старший ничего не сказал, а только толкнул младшего, но тот еще не понимал таких вещей, он подбежал ко мне, схватил свою машину и сказал готовно, с гордостью:

– Папа подарил!

Я повернулся к Рамазановой и увидел, что пальцы у нее больше не дрожат. Обоими кулаками она ударила в столеш-

ницу и закричала пронзительно-высоко, захлебываясь собственным криком, замиравшим у нее в горле:

– Как вы!.. Как вы смеете!.. Как вы смеете допрашивать детей!.. Кто вам незаконничать разрешил...

В это время хлопнула дверь, и вошел участковый. Рамазанова замолчала на мгновенье, и в возникшей театральной паузе лейтенант сказал:

– Все точно так. Это он, товарищ старший инспектор.

И Рамазанова сникла, увяла, она как-то даже поблекла, и в одно мгновенье на ее лице проступило огромное утомление, будто нервное напряжение держало ее все это время, как каркас, и теперь, когда оно растаяло, рухнуло несильное – без веры, без правды, без убеждения – все некрепкое сооружение ее личности.

Я сел на свой стул в углу и негромко сказал:

– Рашида Аббасовна, вы возвели напраслину на своего супруга. Никаких женщин он себе не заводил, а был и остается любящим мужем и отцом. К сожалению, эта высокая добродетель не может оправдать его другого порока – любви к государственным и общественным средствам, которые он расхитил, в связи с чем до сих пор скрывается от суда и следствия. Значит, вы его видите время от времени?

– Не вижу, не знаю и ничего вам не скажу. А допрашивать ребенка – гадко! Подло! Низко! Порядочный человек не может воспользоваться наивностью ребенка!

– Не распаляйте себя, Рашида Аббасовна. Вы это делаете

сейчас, чтобы сгладить неловкость после того, как я вас уличил во лжи. Что касается детей – закон позволяет их допрашивать. Правда, вашего ребенка я и не допрашивал – спросил только, чтобы убедиться в правильности своей догадки. И подумайте о той ответственности, которую вы берете на себя, приучая детей с малолетства ко лжи, двойной жизни, к постоянному стыду и страху перед милицией...

Рамазанова ответила первое, что пришло в голову:

– Дети за родителей не отвечают...

– Тьфу. – Я разозлился. – Ну послушайте, что вы несете!

Кто здесь говорит об ответственности детей! Сейчас мы даже об ответственности вашего мужа не говорим!

– А о чем же мы тогда говорим? – зло подбоченилась Рамазанова.

– Мы говорим о людях, совершивших аферу у вас в доме. Как их найти – вот что нам важно.

– Ну конечно, конечно, – усмехнулась Рамазанова, – только это сейчас и волнует вас больше всего.

– При таком поведении неясно, зачем вы милицию вызывали, – пожал я плечами.

– Она и не вызывала милицию, – сказал внимательно прислушивавшийся к разговору участковый. – Это дворничиха вызвала.

Я при начале допроса не присутствовал и поэтому очень удивился.

– То есть как? – спросил я.

– Мошенники уже заканчивали обыск, и тут в квартиру позвонила дворничиха – она принесла из жэка расчетные книжки. Мошенники впустили ее: спросили, кто она такая, объяснили, что, мол, идет обыск и за ней все равно собирались идти как за понятой. А закончив, сказали дворничихе, что сюда приедут из отделения милиции, пусть, мол, она посидит и последит, чтобы Рамазанова ни с кем по телефону не связывалась и не успела предупредить сообщников. Дворничиха отсидела четыре часа, а потом стала звонить в отделение: когда, мол, приедут? Ну, тут все и открылось...

– Вон оно что, – уразумел я. Походил по комнате, сел к столу напротив Рамазановой, сказал ей спокойно, почти мягко: – Выслушайте меня, Рашида Аббасовна, очень внимательно. Я отчетливо представляю, что сейчас на вашу помощь мне рассчитывать не приходится, но, когда мы уйдем, вы всерьез подумайте над тем, что я скажу. Сообщники вашего мужа по хищениям в промкомбинате общества «Рыболов-спортсмен» осуждены, дело вашего мужа в связи с тем, что он скрылся, выделено в особое производство. Дело это нашумевшее, и я о нем наслышан. Но история, которая произошла здесь, никакого отношения к прошлым делам вашего мужа не имеет. Вы стали жертвой мошенничества, которое называется разгон. Так вот, Умара Рамазанова ищут, вы это прекрасно знаете. И, как любой работник МУРа, я заинтересован в том, чтобы его нашли. Но сейчас это не мое дело. Меня сейчас не интересует и происхождение ценностей,

которые у вас забрали разгонщики. Меня сами мошенники интересуют, потому что ваш случай не первый и преступники они опасные. Вы-то мне не рассказываете об обстоятельствах дела, но, если хотите, я могу довольно достоверно предположить, как и что здесь происходило. Хотите?

Рамазанова сделала легкую гримасу, давая понять – говорите что хотите, мне-то все равно.

– Вам позвонили вчера вечером, скорее всего сославшись на каких-то общих знакомых, и очень возможно, что это была женщина, и сказали, что муж, Умар Рамазанов, только что арестован. Вам надлежит незамедлительно собрать и вынести из дому самые ценные вещи, потому что через полчаса к вам придут с обыском и опишут все ценности. Вы заметались по дому, но через двадцать минут аферисты уже звонили в вашу дверь. А все ценное к их приходу вы уже собрали... Вот приблизительно так это и происходило.

– Ну и что вы от меня хотите? – спросила Рамазанова.

– Чтобы вы подумали вместе со мной, кто могут быть эти люди, прекрасно информированные о делах вашего мужа.

– Ничем я не могу вам помочь. Все, что знала, рассказала. Если что-нибудь вспомню, я позвоню вам.

– Хорошо. Постарайтесь вспомнить – это важно. Для вас важно.

Если раньше в глубине души у меня еще бродили какие-то неясные сомнения относительно роли Позднякова, его пове-

дения и степени вины, то теперь я окончательно уверился в том, что преступниками ему была отведена роль не целевого объекта их бандитского умысла, даже не роль жертвы мести. Он в их глазах был только средством, очень эффективным средством для совершения других, более важных преступлений: удостоверение и пистолет интересовали их во сто крат больше личности Позднякова, его чести, достоинства, всей его жизни.

И чтобы спокойно, наверняка шарить по квартирам Пачкалиной, Рамазановой и других, мне еще неизвестных людей, они пошли на преступление, в котором было второе негодяйское дно – тщательный расчет на то, что отвечать за него придется не им, а другому, уже пострадавшему от них человеку.

Вот это замечательное хитроумие и вызывало во мне азарт, профессиональную злость, каменную решимость выудить их из неизвестности и взять за горло. И почему-то именно после разгона у Рамазановой во мне поселилась уверенность, что они не уйдут от меня. Я тогда и сформулировать точно не мог, в чем их ошибка, но действия их стали повторяться, а для преступников первый же повтор – начало краха. Халецкий любит говорить, что формулировка системы есть первый шаг в ее решении. А то, что они уже повторились, свидетельствует о каком-то принципе, внутреннем механизме в их действиях, и мне надлежало исследовать эпизоды разгонов таким образом, чтобы понять образующую

их систему.

Я достал лист бумаги и стал на нем рисовать кружки и квадратики, изображавшие фигурантов по делу. В кружки я вписывал фамилии людей, причастных к разгонам, а в квадраты – имевших отношение к созданию метапроптитезола. Кружки и квадратики заполняли лист, и я думал о том, что какие-то из них будут мною полностью заштрихованы как попавшие сюда случайно или по недоразумению, другим еще предстоит возникнуть, какие-то, особо важные, будут обведены красным карандашом, но задача моя состояла в том, чтобы соединить их линиями, которые должны были в жизни материализоваться в логически определенные, причинно вызванные устойчивые человеческие связи, в быту называемые нами завистью, страхом, алчностью, потребностью жить за чужой счет, – все то калейдоскопическое соединение дурных наклонностей, из которых преступник сплетает сеть для людей. За мной остается необходимость расплести этот клубок страстей и поступков, ведущих к его логову.

И еще я знал точно, что у всех, даже умных и опытных, преступников есть уязвимое место: они не уважают следствия и не боятся его, полагая, что уж они-то продумали и рассчитали все так, чтобы наверняка не попасться. А опасаются они только извечного врага фартовых людей – случая, который один только и может все их дело провалить; и никогда не приходит им в голову, что следствие как раз и стоит на коллекционировании и оценке этих случаев.

Я рисовал свою схему, размышляя, как короче и вернее связать мои кружки и квадратики, у меня появились уже интересные варианты, и совсем я не представлял себе, что к моему кабинету по коридору идет секретарша Тамара и несет весть, которая зальет всю мою схему непроницаемой тушью загадки, разорвет уже наметившиеся связи, перебросит фамилии фигурантов из кружков в квадраты и наоборот, превратит мою задачу в ребус...

Тамара открыла дверь, протянула мне конверт:

– Генерал велел передать вам. – И ушла.

Письмо было уже вскрыто, и стоял на нем фиолетовый штамп канцелярии – за невыразительным входящим номером было зарегистрировано послание выдающееся. На конверте написано: «Москва, Петровка, 38. Главному генералу в МУРе». Внутри – неряшливый лист желтоватой бумаги, весь в пятнах, потеках, мазках не то жира, не то рассола – такие остаются на газете, в которую заворачивают селедку. И даже запах от нее был неприятный. Но содержание письма испугало все:

«Начальник! Порошок, которым глушанули вашего мента на стадионе, возит в „жигуле“, в тайнике заднего бампера один фраер. Номер машины – 3842».

Письмо оглушило меня. Я перечитывал его вновь и вновь, пытаюсь сообразить, кто мог быть его автором. Кто этот «фраер», который возит метапропизол в тайнике? Неужели один из шайки решил сдать другого? Это маловероятно, то-

гда ведь и ему конец. Или случайный свидетель? Или один из тех, с кем я уже говорил, и он хочет навести меня на след, сам оставаясь в тени? Или, наоборот, хотят сбить с толку, чтобы я потерял время? Или направление поиска?

Письмо похоже на вымысел. Оно по стилю неорганично – человек, знающий выражение «тайник заднего бампера», не употребляет слова «фраер», «мент» в обычной речи. Нелепый адрес – «главному генералу».

Обратного адреса, конечно, не было, но штемпель отправления московский. И еще одно обстоятельство насторожило меня: индекс нашего почтового отделения – 118425 – был тщательно вписан в клеточки адресной колодки на конверте. Автор письма, судя по листу, на котором оно было написано, не похож на аккуратного чистюльку, и он наверняка знал, что письмо на Петровку доставят и без индекса почтового отделения. Но он все-таки прилежно вывел индекс. Почему? Может быть, хотел, чтобы письмо пришло вовремя, поскорее?

Кто же он, отправитель этого загадочного письма?

Преступник?

Не его ли дрожащие пальцы, что вчера так тщательно вписывали в решеточку цифровой индекс, так же старательно две недели назад всыпали в бутылку метапроптизол для Позднякова?

Слабый человек, знающий какую-то отвратительную тайну, долго мучившийся и внезапно решившийся? Мне почему-то показалось, что он должен был внезапно принять свое

решение: бумажка, на которой он написал письмо, наверное, валялась где-то на кухне, оказалась под рукой, он схватил ее, написал и, чтобы не передумать, заклеил конверт и опустил его в почтовый ящик.

Нет, нет, нет! У него не могло быть под рукой почтового индекса – его можно узнать только на почте или по телефону в справочной, и это отвергало мою гипотезу о внезапности принятого решения. У него было время передумать. А переписывать письмо не имело смысла – он понимал, что содержание бумаги полностью оправдывает ее внешний вид.

А вдруг я распечатываю пачку не с того конца? Может быть, это ветер с другой стороны? Тогда кто? Не Панафидин же? И не Благолепов. И не Горовой. И не Желонкина. Они не могли. Точнее сказать, не должны. А может быть, неизвестный мне Лыжин? Тьфу, чертовщина какая-то начинается!

А не может ли это быть привет от Пачкалиной?

Подожди, надо все по порядку.

Я позвонил Саше Дугину в ГАИ и попросил установить имя владельца «жигулей» номер 3842. Он спросил:

– Какая серия?

– Не знаю.

– Тогда это надолго работа...

– Сашок, постарайся побыстрее – позарез нужно.

– Сегодня я наверняка не успею – время-то к шести пошло, да и пятница все-таки сегодня.

– Да ты что? – взвился я. – Это, значит, до понедельника,

что ли?

– Да не бушуй ты там. Я завтра дежурю. Позвони с утра – дам тебе список. Номерок повтори.

Я продиктовал еще раз номер, слезно поклянчив не подвести меня, и он клятвенно пообещал найти завтра всех владельцев «жигулей», у которых номер 3842.

А я еще раз перечитал письмо, спрятал его в конверт, конверт положил в папку, запер документы в сейф и сейф опечатал своей печаткой – все равно мне здесь до понедельника делать было нечего.

И поехал домой к Пачкалиной.

Покосившийся деревянный дом, в котором проживала Екатерина Пачкалина, стоял на «красной черте»: по плану реконструкции улицы его должны были снести в течение года. Но пока дома стояли, и люди в них жили тесно, в повседневном добрососедстве и постоянных ссорах, взаимной связанности и полной открытости друг перед другом, потому что коммунальная кухня и драночные стенки исключали всякую возможность секретов и какой-либо изолированной жизни.

Я присел на скамейку к старухе, она покачивала в колясочке ребенка и, очевидно, томилась отсутствием собеседников.

– ...Каждый год ходят комиссии и ходят, и все обещают, конечно: в следующем квартале переселять будем. Мои-

то домашние, семейство мое, конечно, ждут не дождутся, а мне-то как раз и не к спеху: чего я там в новом доме не видела? Все жильцы новые, иди с ними знакомься, раньше помру, чем всех узнаю, а тут как-никак родилась я семьдесят три годочка назад, тут бы и помереть: может, всем домом и проводят меня, вместе все и помянут. *Этот* вот – уже четвертый правнук, мне бы отдохнуть, а все без бабки Евдокии никак не обойтись. Да ничего, не жалуюсь я, детки-то у меня все приличные, все в люди повыходили. Краснухина? Мать? Как же не знаю, мы здесь с Надеждой сколько лет вместе живем. Она, конечно, меня моложе будет, но здоровья у ей никакого не осталось. Третьего дня ее снова на скорой-то помощи в больницу доставили. Сходить бы надоть проведать, да вот от *этого* не оторвешься. Схожу, схожу, только вот *этого* с рук скину, а то ведь она от своей лярвы-то передачи в жизни не дождет. Ишь кобыла здоровущая, ряшку красную отъела, хоть прикуривай, а мать совсем погибает. И видано-то где это: мать на карете в больницу, а она себе сразу хахаля в дом. Вон из окна слышать, как надрывается...

Я взглянул на приоткрытое окно, воспаленное красным абажуром. Оттуда доносился чуть хриловатый пьяненький женский голос. Женщина пела частушку или песенку, и от прочувствованности концы фраз подвизгивали. Я прислушался и не узнал вязкого голоса Пачкалиной в этом игривом мелодекламировании. Голос выводил:

У меня миленок лысый,
Дак куда же его деть?
Если зеркала не будет,
Стану в лысину глядеть...

– Через ее мать и болеет все время, силов у ей никаких нет терпеть ее сучьи штучки, – неспешно и обстоятельно повествовала бабка Евдокия. – Вот взять хоть, к примеру, семью Карельских – тоже девка взрослая у них. И с мужем у ей тоже чевой-то там не вышло. Так живет со своими сродственниками, мальчика воспитывает, ведет себя как человек приличный, работает и на дом еще работу берет, чтобы парня своего всем ублажить, ни в чем чтоб сиротой безотцовской не чувствовал, и одно про ее слово: кроме хорошего, ничего плохо не скажешь...

Я очень обрадовался столь достойному поведению взрослой дочери в семье Карельских, но сейчас меня больше интересовало плохое поведение Пачкалиной, и я постарался вернуть разговор, ускользающий по накатанной колее, в нужное мне направление:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.